

ПЭМ
ДЖЕНОФФ



ИСТОРИЯ
СИРОТЫ

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES

Пэм Дженофф

История сироты

Серия «Звезды зарубежной прозы»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51565029
История сироты. Роман: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-119457-4

Аннотация

Роман о дружбе, зародившейся в бродячем цирке во время Второй мировой войны, «История сироты» рассказывает о двух необыкновенных женщинах и их мучительных историях о самопожертвовании.

Шестнадцатилетнюю Ноа с позором выгнали из дома родители после того, как она забеременела от нацистского солдата. Она родила и была вынуждена отказаться от своего ребенка, поселившись на маленькой железнодорожной станции. Когда Ноа обнаруживает товарный вагон с десятками еврейских младенцев, направляющийся в концентрационный лагерь, она решает спасти одного из младенцев и сбежать с ним.

Девушка находит убежище в немецком цирке. Чтобы выжить, ей придется вступить в цирковую труппу, сражаясь с неприязнью воздушной гимнастки Астрид. Но очень скоро недоверие между Астрид и Ноа перерастает в крепкую дружбу, которая станет

их единственным оружием против железной машины нацистской Германии.

Содержание

Пролог	6
Глава 1	10
Глава 2	24
Глава 3	46
Глава 4	58
Глава 5	72
Глава 6	98
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Дженофф Пэм

История сироты

Роман

Посвящается моей семье

Рам Jenoff
The Orphan's Tale

* * *

Печатается с разрешения издательства Harlequin Books S.A. и литературного агентства Prava I Prevodi International Literary Agency.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Рам Jenoff, 2017

© Пахомова В., перевод, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Пролог

Париж

Они, должно быть, уже хватились меня.

Я останавливаюсь на гранитной ступени музея, потянувшись к перилам, чтобы удержать равновесие. Мое левое бедро пронзает боль – она острее, чем когда-либо, – прошлогодний перелом прошел не до конца. В сумерках над Авеню Уинстона Черчилля за силуэтом стеклянного купола Большого дворца розовеет мартовское небо.

Я осматриваю арку входа в Малый дворец. На массивных каменных колоннах на высоте второго этажа висит красная перетяжка: «Deux Cents ans de Magie du Cirque»¹. Она украшена гирляндой из слонов, тигра и клоуна, хотя в моих воспоминаниях цвета на этой гирлянде были гораздо ярче.

Надо было сказать, что я буду здесь. Хотя тогда они просто попытались бы остановить меня. Мой побег – я планировала его на протяжении нескольких месяцев с тех пор, как прочла про выставку в «Таймс», – был тщательно продуман: я дала взятку сиделке в доме престарелых, чтобы она переслала мою фотографию в паспортный стол, оплатила билет

¹ «Двести лет магии цирка».

на самолет наличными. Меня едва не поймали, когда такси, которое я вызвала, остановилось перед зданием в предрасветной темноте и громко посигнало. К счастью, охранник на входе так и не проснулся.

Собравшись с силами, я продолжила карабкаться наверх, один болезненный шаг за другим. Внутри, в холле, церемония открытия уже в самом разгаре: мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях собрались под затейливо разрисованным куполом. Французская речь струится вокруг как давно забытый аромат духов, который я жадно вдыхаю. Всплывают знакомые слова, сначала понемногу, потом поток становится все шире, хотя я не слышала их уже полвека.

Я не останавливаюсь на ресепшене: здесь никто не ожидал моего приезда. Вместо этого, уворачиваясь от официантов с закусками и шампанским, я иду мимо украшенных фресками стен по мозаичному полу прямо к выставке про цирк, вход на которую также отмечен перетяжкой, похожей на ту снаружи, только меньшей по размеру. Здесь есть фотографии, они увеличены и висят на леске столь тонкой, что ее практически не видно: глотатель шпага, гарцующие лошади и еще больше клоунов. Список имен на табличках под изображениями звучит точно песня: Лорх, Д'Оньи, Нойхофф – великие европейские династии цирковых артистов, уничтоженные войной и временем. На последних фамилиях у меня защипало в глазах.

Высоко над фотографиями висит длинная потрепанная

афиша: женщина, изображенная на ней, висит в воздухе на шелковых канатах под руками и загибает ногу назад в арабеске². Ее юное лицо и тело мне кажутся смутно знакомыми. В голове начинает играть мелодия карусели, звук тихий, дребезжащий, как из музыкальной шкатулки. Я чувствую жар прожекторов, которые ищут меня, столь горячий, что, кажется, вот-вот спалит мне кожу. Посреди выставки висит трапеция, закрепленная как будто в полете. Даже сейчас ноги – хотя им уже почти девяносто лет – тянут меня к ней.

Но для воспоминаний нет времени. На то, чтобы добраться сюда, ушло больше времени, чем я предполагала – как и со всеми занятиями в моем возрасте, – и теперь нельзя терять ни минуты. Проглотив ком в горле, я иду вперед, проходя мимо костюмов и головных уборов – артефактов исчезнувшей цивилизации. Наконец я добралась до вагончика. Часть боковых панелей убрали, чтобы открыть вид на маленькие койки внутри, близко расположенные друг к другу. Я обескуражена размером вагончика, он меньше половины моей комнаты в доме престарелых. Раньше он казался мне гораздо больше. Неужели мы действительно жили здесь по несколько месяцев кряду? Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до подгнившего дерева. Я узнала его сразу же, как только увидела в газете, но где-то в глубине души очень боялась в это поверить, до сегодняшнего дня.

Голоса позади меня становятся громче. Я быстро огляды-

² Основная балетная поза, при которой одна нога высоко поднята вверх.

ваюсь. Гостей в зоне ресепшена становится слишком много, и они постепенно приближаются к выставке. Еще пара минут – и будет слишком поздно.

Я еще раз оглядываюсь, затем нагибаюсь, пролезая под ограждение. «Прячься», – говорит мне внутренний голос, инстинкты, спящие глубоко во мне, снова просыпаются. Я провожу рукой по днищу вагончика. На дне есть небольшое отделение, там, где я и ожидала его найти. Дверцу заклинило, как бывало и раньше, но если я немного надавлю... Она распахивается, и я представляю, какой прилив воодушевления чувствовала юная девушка, надеясь обнаружить там наскоро написанное письмо, приглашение на тайное свидание.

Просовываю руку внутрь, однако пальцы натываются на холодную темную пустоту. Ящик пуст, и моя надежда на то, что в нем могли быть ответы на мои вопросы, рассеивается, как утренний туман.

Глава 1

Ноа

Германия, 1944 год

Низкий звук напоминает мне гудение пчел, которые однажды преследовали папу по всей ферме, после чего он провел в бинтах целую неделю.

Я откладываю щетку, которой терла пол. Некогда изысканный мрамор теперь потрескался под каблуками ботинок и покрылся тонкими полосами грязи и золы, которые не ототрутсЯ никогда. Прислушиваясь к звуку, я прохожу станцию под вывеской, на которой черным жирным шрифтом написано: «Вокзал Бенсхайм». Громко сказано, учитывая, что это всего лишь зал ожидания с двумя туалетами, билетной кассой и палаткой с колбасками, которая открывается, когда привозят мясо и погода не слишком плохая. Я наклоняюсь, чтобы поднять монетку около ножки одной из лавок, и кладу ее к себе в карман. Удивительно, какие только вещи люди не теряют или забывают на железнодорожной станции.

Снаружи на февральском ночном воздухе мое дыхание превращается в облачко пара. Небо покрыто пятнами цвета слоновой кости, предвещающими снегопад. Станция распо-

ложена в низкой части долины, с трех сторон окружена холмами с густо растущими елями, их заостренные зеленые верхушки торчат над ветками, полностью покрытыми снегом. В воздухе немного пахнет гарью. До войны Бенсхайм был просто очередной маленькой точкой на карте, которую путешественники проезжали, не замечая. Но немцы, кажется, из всего могут извлечь выгоду, и это место оказалось удобной точкой для того, чтобы оставлять здесь поезда, выключая двигатели на ночь.

Я здесь почти четыре месяца. Осенью было не так уж плохо, я была счастлива, что мне удалось найти убежище, после того как меня отправили восвояси, дав еды на два дня (или на три, если растянуть). Женский приют, где я жила после того, как мои родители узнали, что я жду ребенка и выставили меня из дома, был равноудален от всех мест: они могли бы довезти меня до Майна или хотя бы до ближайшего города. Однако мне просто открыли дверь: иди, мол, на все четыре стороны. Я пошла к железнодорожной станции, еще не успев осознать, что мне некуда идти. В течение многих месяцев вне дома я не раз задумывалась о том, чтобы вернуться, молить о прощении. Я не была слишком гордой, нет. Я бы встала на колени, если бы думала, что это хоть чем-то поможет. Но вспоминая ярость в глазах моего отца в день, когда он выгнал меня, я знала, что его сердце для меня закрыто. Я не переживу второго отказа.

Впрочем, в один момент мне повезло: оказалось, что стан-

ции требуется уборщица. Я оглядываюсь на угол здания, на вход в комнатуху, где я сплю на матрасе на полу. На мне все то же платье для беременных, в котором я покинула дом, разве что перед у него теперь вяло обвис. Конечно, так будет не всегда. Я найду настоящую работу – ту, на которой платят чем-то посерьезнее плесневелого хлеба, – и нормальный дом.

Я легко могу представить себя в окошке билетной кассы. Моя внешность подойдет туда идеально: волосы цвета помоев, которые выцветают летом, бледно-голубые глаза. Когда-то моя бесцветность меня огорчала, но сейчас это преимущество. Два других сотрудника станции, кассирша и мужчина, работающий в палатке, приходят и уходят домой каждый вечер, почти не разговаривая со мной. Проезжающие проходят станцию со свежим выпуском «Der Stürmer»³, зажатым под мышкой, втапывая в пол окурки, ничуть не интересуясь тем, кто я и откуда. Одиноко, но именно это мне и нужно. Я не готова отвечать на вопросы о прошлом.

Нет, они не замечают меня. Я же вижу их хорошо: солдат в увольнении, матерей и жен, которые приходят каждый день, оглядывая перрон в надежде увидеть сына или мужа, после чего уходят в одиночестве. А еще всегда легко определить тех, кто хочет сбежать. Они пытаются выглядеть как обычно, как будто они отправляются на отдых. Но их одежда сидит

³ «Der Stürmer» (дословно – Штурмовик) – еженедельник, выходивший в Веймарской республике и нацистской Германии с 1923 по 1945 год (с перерывами).

на них слишком плотно из-за многих слоев, поддетых под нее, а их сумки так набиты, что, кажется, взорвутся в любую секунду. Они не смотрят никому в глаза, но подгоняют детей, чтобы шли быстрее, а лица у них бледные и вытянутые.

Гул становится громче и выше. Он исходит от поезда, я слышала скрип его тормозов некоторое время назад, теперь же он стоит на дальних путях. Я иду к нему, мимо почти опустевших угольных складов: большую часть угля забрали для войск на востоке. Возможно, кто-то оставил включенным двигатель или какое-то другое оборудование. Я не хочу, чтобы в этом обвинили меня, не хочу потерять работу. Несмотря на свое незавидное положение, я понимаю, что может быть хуже и что мне очень повезло попасть сюда.

Повезло. Впервые я услышала это слово от пожилой немки, которая поделилась со мной кусочком сельди, когда я ехала на автобусе до Гааги после того, как ушла от родителей. «Ты – настоящая арийка», – сказала мне она, причмокивая рыбными губами, пока автобус петлял по дороге, полной поворотов и ям.

Я подумала, что она шутит: у меня волосы скучного светлого цвета, нос кнопкой. Тело мое, жилистое и спортивное, только недавно стало смягчаться и округляться. Если не считать того краткого момента, когда тот немец шептал мне на ухо нежные слова по ночам, я всегда считала себя ничем не примечательной. А тут мне вдруг говорили, что я – самое то. Сама не знаю как, но я рассказала женщине о своей бе-

ременности и о том, как меня выставили из дома. Она посоветовала мне поехать в Висбаден и написала для меня записку, в которой было сказано, что я вынашиваю дитя Рейха. Я взяла записку и отправилась туда. Мне тогда и в голову не пришло, что ехать в Германию сейчас опасно, что мне лучше отказаться от этой идеи. Хоть кому-то мой ребенок был нужен. Мои родители скорее бы умерли, чем приняли помощь от немцев. Но женщина сказала, что они дадут мне кров: значит, не так уж они и плохи? Мне было некуда идти.

«Тебе повезло», – сказали мне снова, когда я приехала в женский приют. Я родом из Голландии, но меня считали арийкой, и мой ребенок – который в любом другом случае считался бы незаконнорожденным, зачатым вне брака – мог быть принят в программу «Лебенсборн»⁴ и воспитан в хорошей немецкой семье. Я провела здесь почти шесть месяцев, читая книги, помогая с работой по дому, пока мой живот не стал слишком громоздким. Место, где мы жили, было пусть и не слишком большим, но современным и чистым, созданным специально для того, чтобы поставлять Рейху здоровых детей. Я познакомилась с Евой, крепкой девушкой, чей срок был на пару месяцев больше моего, но однажды ночью она проснулась в крови, ее отвезли в больницу, и я больше никогда ее не видела. После этого я старалась держаться одна.

⁴ «Источник жизни», организация в нацистской Германии, которая помогала матерям-одиночкам воспитывать детей, организовывала приюты. Условием участия в программе была принадлежность обоих родителей к арийской расе.

Никто из нас не пробудет здесь долго.

Мое время пришло в одно холодное октябрьское утро, я встала из-за стола, где завтракала в женском общежитии, и у меня отошли воды. Следующие восемнадцать часов были смутным туманом жуткой боли, перемежающимся звуками указаний, без какой-либо поддержки или доброго слова. Наконец, появился ребенок, он закричал, и все мое тело содрогнулось от пустоты, машина отработала свое. По лицу медсестры скользнула странная тень.

– Что такое? – спросила я. Мне не полагалось видеть ребенка. Но я поборола боль и села. – Что-то не так?

– Все хорошо, – заверил меня доктор. – Ребенок здоров. – Однако голос у него был взволнованный, а мрачное лицо с толстыми линзами очков склонилось над складками кремовых пеленок. Я потянулась вперед и столкнулась взглядом с парой пронзительно черных глаз.

Глаз, которые были совершенно не арийскими.

Я поняла, почему доктор обеспокоен. Ребенок максимально далек от идеальной расы. Какой-то скрытый ген, с моей стороны или со стороны того немца, наделил его темными глазами и оливковой кожей. Его не примут в лебенсборнскую программу.

Мой ребенок издал крик, пронзительный, высокий, как будто понимая, какая судьба его ждет, и протестуя против этого. Я потянулась к нему, преодолевая боль.

– Я хочу взять его на руки.

Доктор и медсестра, которые записывали информацию о ребенке на какой-то бланк, встревоженно переглянулись.

– Мы не можем. Дело в том, что по лебенсборнской программе это не положено.

Я с трудом села.

– Тогда я возьму его и уйду. – Это был блеф: мне некогда было идти. Я подписала документы, когда приехала сюда, отказавшись от своих прав в обмен на возможность остаться, здесь даже есть охрана... Я едва ли смогу даже идти самостоятельно.

– Пожалуйста, дайте мне его подержать хоть минутку.

– *Найн*⁵. – Медсестра сочувственно покачала головой, покидая комнату, в то время как я продолжала умолять.

Когда она скрылась из виду, что-то в моем голосе заставило доктора сжалиться.

– Только на минутку, – сказал он, с неохотой передавая мне ребенка. Я вглядывалась в это красное личико, вдыхала приятный аромат его головы, чуть заостренной от мучительных попыток родиться, длившихся много часов, и остановила взгляд на его глазах. Эти чудесные глаза. Как нечто столь прекрасное может считаться «далеким от идеала»?

И все-таки он был мой. Я почувствовала прилив нежности, меня переполняла любовь к нему. Я не хотела этого ребенка, но на данный момент все сожаления исчезли, уступив место печали. Меня охватили паника и облегчение. Теперь

⁵ Нет (*нем.*).

он им не нужен. Я должна буду забрать его с собой, потому что других вариантов нет. Я оставлю его, найду способ...

Затем вернулась медсестра и вырвала его из моих рук.

– Нет, подождите, – запротестовала я. Пока я пыталась дотянуться до своего ребенка, что-то острое вонзилось в мою руку. Закружилась голова. Руки уложили меня обратно на кровать. Я потеряла сознание, продолжая видеть перед собой эти угольно-черные глаза.

Я проснулась в холодной стерильной родильной палате одна, без ребенка, или мужа, или матери, или хотя бы медсестры. Пустой сосуд, который больше никому не нужен. Позже они сказали, что ребенок отправился в хороший дом. У меня не было возможности узнать, правда ли это.

Я глотаю слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и отгоняю от себя воспоминания. Затем выхожу со станции на жгучий морозный воздух, радуясь тому, что нигде не видно штуполицаев Рейха, вечно ухмыляющихся государственных полицейских, патрулирующих станцию. Наверное, борются, с морозом в своем автомобиле, прикладываясь к фляжке. Внимательно оглядываю поезд, пытаюсь определить источник звука. Он исходит от крайнего товарного вагона, прикрепленного к последнему служебному вагону – не со стороны двигателя. Нет, звук исходит изнутри. От чего-то живого.

Останавливаюсь. Я взяла за правило никогда не приближаться к поездам и отворачиваться, когда они проезжают

мимо, потому что в них везут евреев.

Когда впервые увидела облаву, я еще жила в нашей деревне, дома: мужчин, женщин и детей сгоняли на рыночную площадь. Я побежала к отцу, рыдая. Он был патриотом и всегда заступался за людей – так почему не сейчас?

– Это ужасно, – заключил он сквозь седеющую бороду в желтых пятнах от курительной трубки. Он стер слезы с моих щек и поделился со мной пространством объяснением о том, что существуют разные взгляды на ситуацию. Но никакие взгляды не могли изменить того, что мою одноклассницу Стеффи Кляйн отвели на вокзал под конвоем вместе с ее младшим братом и родителями, в том же самом платье, которое она надевала на мой день рождения за месяц до этого.

Звук становится все громче, теперь он похож на причитания, на вой раненого животного, лежащего в кустах. Я осматриваю пустую платформу и заглядываю за край станции. Слышат ли полицейские этот звук? Я останавливаюсь на краю платформы, в нерешительности поглядывая на пустынные пути, которые отделяют меня от торгового вагона. Надо просто уйти. «Смотри в пол, а не по сторонам» – это урок, которому научила нас война.

Заметишь чужие дела – жди беды. Если меня поймают на той части станции, где мне не положено быть, я останусь без работы, без жилья, а возможно, даже попаду под арест. Но у меня никогда не получалось ничего не замечать. «Слишком любопытная», – как говорила моя мама про меня в детстве.

Я всегда хотела знать наверняка. Я иду вперед, не в силах игнорировать звук, который по мере того, как я приближаюсь, становится все более похожим на плач.

Из открытой двери вагона видна маленькая ножка.

Я оттягиваю дверь в сторону. «Ох!» – мой вздох отозвался эхом в темноте, угрожая выдать меня. Это дети, бесчисленное множество маленьких тел лежит на застеленном соломой полу вагона вплотную друг к другу, иногда и друг на друге. Большинство не двигается, и я не могу понять, умерли они или спят. В этой тишине жалобные крики смешиваются со вздохами и стонами, похожими на блеяние ягнят.

Я хватаюсь за край вагона, пытаюсь дышать через завесу запахов мочи, кала и рвоты, которые ударяют мне в нос. С тех пор, как я приехала сюда, я обманывала себя, думая, что все это плохой сон или кино, что это не может быть реальностью. Но сейчас все иначе. Так много младенцев, совсем одних, вырванных из рук своих матерей. У меня начинает колоть в животе.

Я стою перед вагоном, растерянная, замерев на месте от шока. Откуда эти дети? Их, должно быть, только привезли, они не продержались бы долго при таких температурах.

Я видела, как поезда идут на восток на протяжении нескольких месяцев. Людей держали там, где можно перевозить только разве что животных или мешки с зерном. Несмотря на ужасную транспортировку, я уверяла себя, что они едут на какую-то стоянку или в деревню: это просто, что-

бы все они находились в одном месте. Картинка в моей голове была расплывчатой, но я представляла какие-то вагончики или палатки, вроде стоянки на берегу моря к югу от нашей деревни в Голландии, для тех, кто не мог себе позволить настоящее путешествие или хотел побыть ближе к природе. Переселение. Глядя на этих мертвых и умирающих младенцев, я понимаю, что это была откровенная ложь.

Я оглядываюсь. Поезда с людьми всегда охранялись. Но здесь никого нет, потому что младенцы не смогут убежать.

Ближе всего ко мне лежит ребенок с серой кожей, его губы посинели. Я пытаюсь убрать тонкий слой инея с его ресниц, но ребенок уже окоченел и отошел в мир иной. Я одергиваю руку и осматриваю остальных. Большинство младенцев лежат голые или завернуты в одеялко или отрез ткани, на них нет больше ничего, что защитило бы их от жуткого холода. Но в центре вагона вверх торчат аккуратные бледно-розовые пинетки, надетые на окоченевшие ножки абсолютно голого ребенка. Кто-то заботливо связал их для него. Из моих губ вырывается всхлип.

Одна голова торчит среди других. Лицо в форме сердечка все в фекалиях и соломе. Не похоже, чтобы ребенку было больно или чтобы он мучился. На его лице растерянное выражение, оно как будто говорит: «И что же я здесь делаю?» Я замечаю в нем кое-что знакомое: угольные глаза, пронзительный взгляд, точно такой же, каким встретил меня мой ребенок. Сердце у меня сжимается.

Вдруг лицо сморщилось, ребенок закричал. Я стремительно протягиваю к нему руки, чтобы достать его до того, как кто-то услышит крики. Я не дотягиваюсь совсем чуть-чуть, а он кричит все громче. Пытаюсь забраться в вагон, но дети лежат так плотно, что я не могу, боюсь наступить на них. Отчаявшись, я тянусь к нему снова, и мне удается его подхватить. Беру плачущего ребенка на руки, мне нужно, чтобы он замолчал. Когда я вытаскиваю его из вагона, оказывается, что кожа у него совсем ледяная, на нем нет никакой одежды, если не считать промокшей пеленки.

И вот он у меня на руках, я держала его всего секунду, а он уже успокоился, лежа на моем плече. А может это мой ребенок, которого вернула мне судьба или невероятное совпадение? Глаза младенца закрываются, а головка падает вперед. Он спит или умирает, я не понимаю. Крепко прижимая его к себе, я отхожу от поезда. Затем оборачиваюсь: если кто-то из этих детей жив, я – их единственный шанс. Нужно взять больше.

Но ребенок, которого я держу, снова кричит, пронзительный звук разрезает тишину ночи. Я закрываю ему рот и бегу обратно на станцию.

Иду к своей комнатухе. Останавливаюсь на пороге, лихорадочно озираясь. У меня ничего нет. Захожу в женский туалет, после вагона затхлый запах уборной здесь почти не заметен. У раковины я стираю эту мерзкую грязь с детского личика клочком ткани, который использую для мытья полов.

Ребенок немного согрелся, но два пальчика у него посинели, и я переживаю, что, возможно, он их отморозил. Откуда же он?

Раскрываю отвратительную пеленку. Это мальчик, прямо как мой. Теперь, я вижу, что его крошечный пенис выглядит не так, как пенис немца или того мальчишки в школе, который показывал мне, когда мне было семь. Обрезание. Стеффи произносила при мне это слово однажды, объясняя, что обрезание сделали ее младшему брату. Этот ребенок – еврей. Не мой ребенок.

Я инстинктивно делаю шаг назад, когда осознаю реальное положение дел, которое я и раньше знала: я не могу оставить еврейского ребенка, и ребенка вообще: я совсем одна и умираю на станции по двенадцать часов в день. О чем я думала?

Ребенок начинает скатываться с края раковины, где я его оставила. Я подсказываю, успевая поймать его прежде, чем он упадет на твердую плитку. Я не знаю, что делать с младенцами, и держу его на расстоянии вытянутой руки как опасное животное. Но он тянется ко мне, утыкается носом в мою шею. Я неумело делаю подгузник из другой тряпки, затем выхожу с ребенком из туалета и прочь со станции, направляясь обратно к вагону. Я должна положить его обратно в поезд, как будто ничего не случилось.

На краю платформы я замираю. Один из охранников идет вдоль путей, путь к поезду заблокирован. Я отчаянно смот-

рю по сторонам, пытаюсь найти выход. Рядом со станцией стоит грузовик, доставляющий молоко, его багажное отделение заполнено огромными контейнерами. Поддавшись импульсу, я иду к нему. Даю ребенку соскользнуть в одну из пустых канистр, стараясь не думать о том, насколько обжигающе холодным будет металл, который сейчас коснется его голой кожи. Ребенок не издает ни звука, а просто беспомощно смотрит на меня.

Я прячусь за скамью, дверь грузовика захлопывается. Всего секунда – и он уедет, забрав ребенка с собой.

И никто никогда не узнает, что я сделала.

Глава 2

Астрид

Германия,

1942 – четырнадцатью месяцами ранее

Я стою на краю изможденных земель, которые раньше были нашими зимними квартирами. Здесь не было военных столкновений, но долина выглядит как после боя: повсюду валяются сломанные вагоны и куски металлолома. Холодный ветер продувает опустевшие дома через открытые оконные рамы, от чего занавески в клеточку то вздымаются, то бессильно опадают. Большинство окон разбиты, и я стараюсь не думать о том, в чем причина: виной тому время или же кто-то разбил их в драке или в порыве ярости. Скрипучие двери открыты, дома в запустении, чего никогда бы не случилось, если бы мама была здесь. В воздухе слегка пахнет дымом, как будто кто-то недавно жег ветки. Где-то вдалеке недовольно кричит ворон.

Запахнув пальто покрепче, я ухожу от руин к отдельно стоящему большому дому, который когда-то был моим. Двор

у него точно такой же, каким он был в моем детстве: небольшая горка перед входной дверью – вода с нее частенько затекала в прихожую, когда начинались весенние дожди. Но сад, где мама с такой любовью растила гортензии каждую весну, теперь опустошен и весь превратился в грязное месиво. Я как будто вижу во дворе своих братьев, они тягаются силами перед домом, после чего их отводят на тренировку, ругая за то, что тратят свои силы на всякую ерунду и могут нанести друг другу травмы, что поставит под угрозу все представление. В детстве мы любили спать под открытым небом в летнем саду, держась за руки, наши пальцы переплетались, а небо висело над нами, точно полог усыпанный звездами.

Останавливаюсь. Над дверью висит большой красный флаг с черной свастикой. В дом, который когда-то был нашим, кто-то уже въехал – высокопоставленный офицер СС, не иначе. Я сжимаю кулаки, мне тошно от мысли, что они используют наши скатерти и посуду, пачкают мамины чудесные ковры и диван своими ботинками. Затем я отвожу взгляд в сторону. Вещи – это не то, по чему я скорблю.

Я осматриваю окна, тщетно надеясь увидеть знакомое лицо. Я знала, что моя семья не живет здесь больше с тех пор, как мое письмо вернулось обратно. И все же я приехала: какая-то часть меня надеялась, что жизнь осталась неизменной, что я найду хоть какую-то подсказку, куда они могли направиться. Но ветер овеивает эти опустошенные земли. Здесь больше ничего нет.

Я тоже не должна быть здесь, понимаю я вдруг. Тревога быстро оттесняет мою печаль. Я не могу просто бродить здесь, меня могут заметить те, кто живет в этих домах сейчас, начать задавать вопросы, кто я и почему я здесь. Мой взгляд скользит по холму к близлежащему зданию, где располагались зимние квартиры цирка Нойхоффа. Их громоздкий синевато-серый особняк стоит прямо напротив нашего дома: они как два стража, охраняющие долину Рейнхессен, которая лежит между ними.

Ранее, в поезде, прибывавшем в Дармштадт, я видела плакат с рекламой цирка Нойхоффа. Сначала я почувствовала привычную неприязнь. Клемты и Нойхоффы соперничали друг с другом на протяжении многих лет, каждый изо всех сил пытался стать лучше другого. Однако цирк, каким бы неблагополучным он ни был – это семья. Наши труппы росли вместе, как братья в разных комнатах. Мы были соперниками в туре, но вне сезона мы, будучи детьми, ходили вместе в школу, играли друг с другом, катались на санках с холма и иногда ужинали вместе. Однажды, когда герр Нойхофф слег с больной спиной и не мог вести представление, моего брата Жюля отправили ему на помощь.

Впрочем, я не видела герра Нойхоффа уже много лет. И он ведь не еврей, поэтому теперь все изменилось. Его цирк процветает, а наш – исчез. Нет, на помощь герра Нойхоффа я надеяться не могу, но, вероятно, он знает, что стало с моей семьей.

Я подхожу к владениям Нойхоффа, дверь мне открывает незнакомая служанка.

– Здравствуйте, – говорю я. – Герр Нойхофф сейчас здесь?

Вдруг мне становится так неловко и стыдно за то, что я приехала без предупреждения и стою у них на пороге, как какая-то попрошайка. «Я Ингрид Клемт», – представляюсь своим девичьим именем. По лицу женщины сразу видно, что она знает, кто я. Откуда ей это известно, из цирка или из других источников, – не знаю. Мой отъезд был событием, слухи о нем расползлись на мили вокруг.

Не каждая уйдет из цирка, чтобы выйти замуж за немецкого офицера, как сделала я – учитывая еще и тот факт, что я еврейка.

Впервые Эрих пришел в цирк весной 1934 года. Я заметила его, стоя за кулисами (то, что мы не видим публику из-за яркого света – это миф), не только из-за его формы, но и потому что он сидел один, без жены или детей. Тогда я уже не была юной девушкой, которой легко вскружить голову, мне было почти двадцать девять. Я всегда была в дороге, занималась цирком и пришла к выводу, что время для замужества уже прошло. Но Эрих был невероятно привлекательным: сильная челюсть, лишь немного омраченная раздвоенным подбородком, угловатые черты лица, казавшиеся чуть мягче благодаря ярким голубым глазам. Он пришел и на следующий вечер, и тогда перед моей гримеркой появились розовые розы. Той весной у нас был роман, каждые выходные

он совершал долгие переезды из Берлина в города, где мы выступали, чтобы провести время между выступлениями и воскресеньем со мной.

Еще тогда нам нужно было понять, что наш роман обречен. Гитлер пришел к власти только за год до этого, однако Рейх совершенно четко обозначил свою ненависть к евреям. Но в глазах Эриха была страсть и напор, из-за них все как будто переставало существовать. Когда он сделал мне предложение, я недолго думала. Мы не замечали проблем, которые маячили на горизонте, тех, которые делали наше будущее вместе невозможным, – мы просто смотрели в другую сторону.

Мой отец не пытался остановить меня, когда я собралась уехать с Эрихом. Я думала, что он будет ругать меня за то, что я выхожу замуж не за еврея, но он только лишь грустно улыбнулся, когда я рассказала ему.

– Я всегда надеялся, что ты примешь на себя руководство семейным делом, – сказал он. Его печальные глаза цвета шоколада, спрятанные за стеклышками очков, отражали мои, точно такие же. Я была удивлена. У меня было три старших брата, четыре, если считать Изадора, убитого при Вердене⁶; у меня не было повода думать, что папа рассматривает меня в качестве преемницы. – Тем более, что Жюль уезжает

⁶ Битва при Вердене (21 февраля – 18 декабря 1916) – одно из сражений Первой мировой войны, вошло в историю как «Верденская мясорубка», закончилось победой Франции.

со своей командой выступать в Ниццу. А близнецы... – Папа сокрушенно покачал головой. Матиас и Маркус сильны и грациозны, от того, какие чудеса они творят на манеже, у зрителей захватывает дух. Однако их таланты больше касаются физических навыков. – Это у тебя, дорогая, есть деловая жилка и талант развлекать зрителя. Но я не собираюсь держать тебя в клетке.

Я и не догадывалась, что он так думал обо мне. Узнала только, когда собралась покинуть его. Я могла передумать и остаться. Но меня манил Эрих и жизнь, о которой, как мне казалось, я всегда мечтала. Потому, с папиным благословением, я уехала в Берлин.

Возможно, если бы я этого не сделала, моя семья все еще была бы здесь.

Служанка ведет меня в гостиную. Она огромная, но заметно, что время ее не пощадило. Ковры немного протерты, в серванте для серебра пустуют некоторые места, как будто какие-то крупные предметы были вынесены или проданы. Затхлый запах сигар смешался с лимонным ароматом полировки. Я выглядываю в окно, пытаюсь разглядеть дом моей семьи через туман, который накрыл долину. Задаюсь вопросом, кто живет в ней теперь и что они думают, глядя на этот пустырь, место, где мы раньше проводили зиму.

После нашей свадьбы, скромной церемонии проведенной мировым судьей, я переехала в просторную квартиру Эриха с видом на Тиргартен. Я проводила свои дни, прогуливаясь

по магазинам на Бергманштрассе, покупая яркие картины, ковры и атласные подушки с вышивкой: все те небольшие вещи, благодаря которым это пространство, некогда минималистичное, станет нам домом. Самым сложным вопросом, с каким нам приходилось сталкиваться, – это решить в какой ресторан ходить на воскресный обед.

К моменту, когда началась война, я жила в Берлине пять лет. Эрих получил повышение, что-то связанное с боеприпасами, что именно – я не понимала до конца, и стал проводить больше времени на работе. Он приходил мрачный и недовольный или же опьяненный идеями, которыми ему не положено было делиться со мной. «Все так изменится, когда Рейх победит, поверь мне». Но я не хотела, чтобы все менялось. Мне нравилась наша жизнь такой, какой она была. Что плохого в старых порядках?

И все же ничего не вернулось к прежнему укладу. Все становилось только хуже, стремительно. По радио и в газетах говорили ужасные вещи о евреях. Окна лавок, принадлежащих евреям, разбивали, двери разрисовывали.

– Моя семья... – взволнованно обратилась я к Эриху однажды, когда мы обедали в своей берлинской квартире, после того, как увидела, что разбили и окна лавки одного еврейского мясника на Ораниенбургерштрассе⁷. Я была женой немецкого офицера. Я была в безопасности. Но что будет с моей семьей, когда они вернуться домой?

⁷ Улица в самом центре Берлина, в районе Митте.

– Им ничего не грозит, Инна, – успокоил он меня, разминая мне плечи.

– Но если такое происходит здесь, – надавила я, – то в Дармштадте будет и того хуже.

Он обнял меня, стоя сзади.

– Ну-ну, тихо. Всего лишь пара актов вандализма, это все для вида. Посмотри вокруг. Все же хорошо.

В квартире стоит аромат крепкого кофе. На столе – кувшин свежесжатого апельсинового сока. Да, определенно, там не должно быть сильно хуже. Я кладу голову на широкое плечо Эриха, вдыхая знакомый запах его шеи.

– Цирк семьи Клемт знают по всему миру, – заверил меня он. Он был прав. Цирк сформировался благодаря работе многих поколений нашей семьи, начавшись с тех старинных представлений с лошадьми в Пруссии – говорят, мой прапрадед ушел из лучшей венской школы верховой езды «Липпицианские⁸ лошади», чтобы открыть наш цирк. Следующее поколение последовало его примеру, и следующее. Такое вот, весьма странное семейное дело.

Эрих продолжил:

– Именно поэтому я решил заехать посмотреть ваше выступление, когда возвращался из Мюнхена. И я увидел тебя... – Он притянул меня ближе, усадив к себе на колени.

Я подняла руку, прерывая его. Обычно мне нравилось, когда он вспоминал те наши первые встречи, но сейчас я была

⁸ Порода верхово-упряжных лошадей светло-серой масти.

слишком взволнованна.

– Я должна поехать проверить, как они.

– Как ты найдешь их во время тура? – спросил он, и в его слова прокралась нотка раздражения. Но это был разумный довод: середина лета, они могут быть где угодно в Германии или Франции. – И что ты сделаешь, чтобы помочь им? Нет, они бы предпочли, чтобы ты осталась здесь. В безопасности. Со мной. – Он игриво потерся об меня носом.

«Конечно же, он прав», – говорила я себе, убаюканная его губами на моей шее. Но беспокойство меня не покидало. А потом я получила письмо. «Любимая Ингрид, мы распустили труппу...» – Папин тон звучал буднично, ни единой просьбы о помощи, хотя я даже представить себе не могу ту боль, которую он испытывал, оставляя семейный бизнес, который процветал больше века. В письме не было сказано о том, что они будут дальше делать, уедут ли, и мне оставалось только догадываться, что, видимо, это было сделано нарочно.

Я написала ответ сразу же, умоляя его сообщить об их планах, о том, нужны ли им деньги. Я бы перевезла всю семью в Берлин, расположила бы их в нашей квартире. Но так они оказались бы только ближе к опасности. Так или иначе, этого вопроса не стояло: письмо вернулось запечатанным. Шесть месяцев назад я отправила письмо – и с тех пор ни слова. Куда они уехали?

– Ингрид! – пророкотал герр Нойхофф, заходя в гости-

ную. Если он и удивлен, то не подал виду. Герр Нойхофф не так стар, как мой отец, и в моих детских воспоминаниях он был импозантным и привлекательным, даже статным, с темными волосами и усами. Однако он ниже ростом, чем мне казалось раньше, у него большой живот, а на голове остался лишь клочок седых волос. Я встаю и иду к нему. Затем, увидев небольшой значок со свастикой на лацкане его пиджака, я останавливаюсь. Было ошибкой приходить сюда. – Это только для вида, – спешно добавляет он.

– Да, конечно. – Однако я не уверена, что ему можно доверять. Нужно просто уйти. И все же он, кажется, искренне рад меня видеть. Я решаю воспользоваться шансом.

Он проводит рукой в сторону кресла, накрытого кружевной тканью, и я сажусь, ерзая от тревоги.

– Коньяк? – предлагает он.

Я нерешительно произношу:

– Это было бы очень мило с вашей стороны.

Он звонит в колокольчик, и поднос вносит та же женщина, которая открывала мне дверь – единственная служанка в доме, где раньше их было немало. Война не обошла стороной и цирк Нойхоффов. Я делаю вид, что отпиваю немного из стакана, который она подала мне. Я не хочу показаться грубой, но мне нужно держать свою голову ясной, чтобы понять, куда мне двинуться дальше. В Дармштадте больше нет для меня места.

– Вы только что приехали из Берлина? – Его тон звучит

вежливо, но это практически то же самое, что спросить, что я здесь делаю.

– Да. Папа написал, что он распустил цирк. – Бровь герра Нойхоффа поднимается в немом вопросе: цирк прекратил свое существование несколько месяцев назад. Почему же я приехала только сейчас?

– Не так давно я потеряла контакт с родственниками, и мои письма возвращаются обратно без ответа, – добавляю я. – Вы ничего не слышали о них?

– Боюсь, что нет, – отвечает он. – Их оставалось совсем немного, все их работники уехали. – Потому что евреям запрещалось работать. Мой отец относился к своим артистам и даже к простым рабочим как к своей семье, заботился о них, когда они болели, приглашал на семейные торжества, например, на бар-мицва⁹ моих братьев. Он также многое делал и для города: проводил благотворительные выступления в больнице, давал деньги чиновникам, чтобы выслужиться перед ними. Так старался сделать нас одними из них. Мы почти забыли, что это не так.

Герр Нойхофф продолжает:

– Я стал искать их после... Ну, понимаете, всего. Но дом был пуст. Они ушли, хотя я не могу сказать точно, сами они ушли или что-то случилось. – Он подходит к столу из красного дерева, который стоит в углу, и открывает ящик. – Од-

⁹ Достижение еврейского мальчика или девочки религиозного совершеннолетия.

нако у меня есть вот это. – Он достает бокал для Кидуш¹⁰, и я встаю, борясь с желанием разрыдаться, увидев знакомые слова на иврите. – Это ведь ваше, верно?

Я киваю, забирая бокал. Как он оказался у него? Там была и менора¹¹, и другие вещи. Немцы, видимо, все забрали. Я провожу пальцем по краю бокала. Когда мы были в пути, семья собиралась в нашем вагончике, просто чтобы зажечь свечи и разделить то вино и хлеб, которые удавалось найти, и несколько минут мы проводили вместе, без посторонних. Помню, как мы сидели, плечами прижавшись друг к другу, чтобы уместиться за маленьким столиком, помню лица братьев, освещенные огнем свечей. Мы были не слишком религиозны – по субботам нужно было выступать, а в дороге у нас не выходило питаться только кошерной пищей. Но мы крепко держались за такие мелочи, за наш еженедельный скромный праздник. Как бы я ни была счастлива с Эрихом, какая-то часть моего сердца всегда покидала нарядные берлинские кафе, переносясь к этим тихим вечерам Шаббата.

Я снова опускаюсь в глубокое кресло.

– Я не должна была уезжать.

– Немцы все равно не дали бы вашему отцу работать, – замечает он. Но если бы я была здесь, то, возможно, немцы не выгнали бы их из дома или не арестовали бы, не сделали

¹⁰ Еврейский обряд освящения бокала вина перед вечерними и утренними трапезами Шаббата.

¹¹ Семирожковый светильник.

того, из-за чего их сейчас здесь нет. Моя связь с Эрихом, которую я с таким рвением держала перед собой как щит, на деле оказалась бесполезной.

Герр Нойхофф кашляет, потом еще и еще, его лицо краснеет. Возможно, он болен.

– Простите, что ничем больше не могу помочь, – говорит он, когда справляется с приступом. – Теперь вы вернетесь в Берлин?

Я странно дергаюсь.

– Боюсь, что нет.

Прошло три дня с того момента, когда Эрих пришел с работы домой на удивление рано. Я бросилась в его объятия.

– Я так рада тебя видеть, – воскликнула я. – Ужин еще не совсем готов, но мы можем выпить что-нибудь. – Он так часто оставался на официальных ужинах или же закапывался в свои рабочие бумаги. Кажется, у нас целую вечность не было тихого вечера наедине.

Он не обнял меня в ответ, напрягся.

– Ингрид, – сказал он, используя мое полное имя, а не то ласковое, каким обычно меня называл, – нам нужно развестись.

– Развестись? – Не уверена, что даже произносила это слово раньше. Развод – это что-то из фильмов и книг о богатых людях. Никто из моих знакомых не разводился – в моем представлении супруги оставались вместе до самой смерти. – У тебя другая женщина? – Мой голос надломился, я ед-

ва смогла произнести эти слова. Конечно же, никакой женщины нет. Страсть между нами не угасала – до сегодняшнего момента.

Удивление и боль отразились на его лице от самой мысли об этом.

– Нет! – И по одному этому слову я поняла, как глубока его любовь и что эта ужасная мысль причинила ему боль. Так почему же он предлагает мне такое? – Рейх приказал всем офицерам развестись с женами еврейской национальности, – объяснил он. Как много их может быть, таких семей? Он достал какие-то документы и передал их мне своими мягкими сильными руками. От бумаг слегка пахло его одеколоном. Здесь даже нет графы для моей подписи, мое согласие или несогласие не имеет значения – это *fait accompli*¹². – Это приказ фюрера, – добавил он. Его голос был бесстрастен, как если бы он говорил о чем-то обыденном, о рабочих делах в своем отделе. – Выбора нет.

– Мы убежим, – сказала я, с усилием вытесняя из голоса дрожь. – Я могу собраться за полчаса. – Я зачем-то подняла со стола жареное мясо, как будто это будет первое, что я возьму с собой. – Принеси коричневый чемодан. – Но Эрих стоял вытянувшись, ноги на ширине плеч. – Что такое?

– Моя работа, – ответил он. – Люди поймут, что я уехал. – Он не уедет со мной. Мясо выпало из моих рук, тарелка разбилась, аромат теплой еды поднимался вверх, вызывая тош-

¹² Свершившийся факт (*фр.*).

ноту. Отличное завершение безупречного ужина – карикатура на идеальную жизнь, которая у меня была, – как мне казалось. Коричневая жидкость забрызгала мне чулки, пятна останутся.

Я дерзко выпятила подбородок:

– Тогда квартира должна достаться мне.

Однако он покачал головой, залез в свой бумажник и переложил все его содержимое в мои руки.

– Ты должна уйти. Сейчас.

Куда мне идти? Вся моя семья пропала, у меня нет документов, чтобы поехать за границу. Тем не менее я нашла свой чемодан и машинально собрала его, как если бы собиралась в отпуск. Я не понимала, что мне брать с собой.

Через два часа, когда я все собрала и была готова уходить, Эрх встал передо мной в своей форме, так похожий на того мужчину, которого я когда-то заметила среди зрителей в тот день, когда мы познакомились. Он замер в неловком ожидании, когда я пошла к двери, как будто провожая гостью.

Я остановилась перед ним на несколько секунд, с мольбой взглядываясь в него, надеясь, что он посмотрит мне в глаза.

– Как ты можешь так поступить? – спросила я. Он не ответил. «Этого просто не может быть», – говорил голос внутри меня. При иных обстоятельствах я бы отказалась уходить. Но меня застигли врасплох, ветер сбил меня с ног неожиданным порывом. Я просто была в слишком большом шоке, чтобы бороться. – Держи. – Я сняла свое обручальное коль-

цо и протянула ему. – Оно больше не принадлежит мне.

Он смотрел сверху вниз на кольцо, его лицо помрачнело, он как будто впервые осознал необратимость своих действий. Я все гадала в тот момент: не разорвет ли он сейчас эти бумаги, объявляющие о нашем разводе, не объявит ли, что мы встретим будущее вместе, несмотря на любые трудности. Он перевел взгляд в сторону.

Когда он убрал свою руку, к нему вернулась жесткость «нового Эриха», как я стала называть его последние несколько месяцев (кажется, именно тогда все начало меняться). Он оттолкнул кольцо, и оно зазвенело, падая на пол. Я спешно подняла его, мои щеки горели от того, какими грубым было его некогда нежное прикосновение.

– Оставь себе, – сказал он. – Сможешь продать, если будут нужны деньги.

Говорит это так, как будто эта маленькая вещь, соединявшая нас, ничего для меня не значит. Он резко ушел обратно в квартиру, не оборачиваясь, и в этот момент все те годы, которые мы провели вместе, кажется, стерлись, пропали без следа.

Конечно, я знаю герра Нойхоффа не настолько хорошо, чтобы рассказывать ему об этом.

– Я уехала из Берлина насовсем, – сказала я, достаточно твердо, чтобы закрыть тему. Я провожу пальцем по обручальному кольцу, которое я снова надела на руку, когда уехала из Берлина, чтобы привлекать меньше внимания в дороге.

– Куда же вы отправитесь? – спрашивает герр Нойхофф. Я не отвечаю. – Вам бы лучше уехать из Германии, – мягко добавляет он. Уехать. Об этом уже речи не шло, дверь захлопнулась. Да и сама мысль об этом казалась просто смешной – мы были немцами и наш цирк развивался здесь уже несколько веков. Оборачиваясь назад, я понимаю, что это было единственно верным решением, но никто из нас не был достаточно мудр, чтобы последовать ему, никто и подумать не мог, что дела станут так плохи. А теперь шанс упущен.

– А еще вы можете присоединиться к нам, – добавляет герр Нойхофф.

– Присоединиться к вам? – Удивление в моем голосе прозвучало почти грубо.

Он кивает.

– К нашему цирку. У нас не хватает воздушной гимнастики с тех пор, как Ангелина сломала бедро. – Я смотрю на него, не веря своим ушам. Сезонные работники и даже артисты вполне могли работать то в одном, то в другом цирке, но член одной цирковой семьи, работающий на другую? Мне легче представить, что леопард поменяет свои пятна, чем себя в цирке Нойхоффа. Однако его предложение разумно, и то, как он озвучил его, прозвучало так, будто они во мне нуждаются, а не он проявляет ко мне милосердие.

И все же внутри у меня все сжимается.

– Боюсь, я не могу.

Останусь здесь – буду обязана герру Нойхоффу. После

Эриха я не хочу снова быть обязанной другому человеку.

– Нет, правда, вы бы оказали мне большую услугу. – В его голосе слышна искренность. Я больше чем просто артистка на замену. Клемент в цирке Нойхоффа, да, это будет что-то. Во всяком случае, для тех старожилов, которые помнят нас в самом расцвете сил. Учитывая мое имя и репутацию воздушной гимнастки, я точно значимый экспонат в коллекции.

– Я еврейка, – говорю я. Нанять меня будет преступлением в нынешнее время. Почему он готов пойти на такой риск?

– Я знаю. – Его усы подсакивают в усмешке. – Вы – *Zirkus Volk*¹³, – добавляет он тихо. Это важнее всего остального.

Однако мои сомнения не развеялись.

– У вас ведь теперь эсэсовцы под боком, разве не так? Это будет так опасно.

Он отмахивается, как будто это не имеет никакого значения.

– Мы поменяем тебе имя. – Но ведь имя и есть то, что ему нужно от меня, то самое, что делает меня ценной. – Астрид, – произносит он.

– Астрид, – повторяю я, примеряя его на себя. Похоже на Ингрид, но другое. И звучит по-скандинавски, таинственно и экзотично – идеально для цирка. – Астрид Сорелл.

Его брови застывают в удивлении.

– Это ведь фамилия вашего мужа?

На секунду я опешила, удивившись, что он знает. Затем я

¹³ Букв. – человек цирка (*нем.*).

киваю. Эрих забрал у меня все, но... Он никогда не узнает.

– Кроме того, я бы хотел воспользоваться вашим деловым чутьем, – добавляет он. – Нас только двое: я и Эммет. – Герр Нойхофф пережил ужасную утрату. В цирке большие семьи – это норма; у меня было четыре брата, каждый красивее и талантливее предыдущего. Но жена герра Нойхоффа умерла при родах, и он не женился повторно, так и остался один с бестолковым наследником, у которого не было ни таланта для сцены, ни деловой жилки. Вместо этого Эммет проводил все свое время, играя в азартные игры в городах, где останавливался цирк, и пелясь на танцующих девушек. Я содрогаюсь от мысли, что станет с цирком, когда его отец отойдет в мир иной.

– Так что, вы останетесь? – спрашивает герр Нойхофф. Я обдумываю его предложение. Наши семьи не всегда хорошо ладили друг с другом. То, что я пришла сюда сегодня, – это большая перемена. Мы были скорее противниками, чем союзниками – до сегодняшнего дня.

Я хочу сказать нет, сесть на поезд и продолжить искать свою семью. Я уже устала зависеть от других. Но взгляд у герра Нойхоффа мягкий: он несколько не рад тому несчастью, которое обрушилось на мою семью, и просто пытается помочь. Я уже слышу звуки циркового оркестра, во мне вдруг просыпается острое желание выступить, погребенное так глубоко, что я уже и забыла о нем. Второй шанс.

– Ну, хорошо, – говорю я в результате. Я не могу ему отка-

зять – да и идти мне некуда. – Давайте попробуем. Возможно, в дороге я узнаю что-нибудь о своей семье. – Он поджигает губы, не желая давать мне ложную надежду.

– Вы можете остановиться в доме, – предлагает он. Он предполагает, что я не захочу жить в женском общежитии, как все обычные сотрудники. – Будет здорово, если у меня появится компания.

Но я не могу рассчитывать, что девочки примут меня, если буду оставаться здесь.

– Это очень мило с вашей стороны, но я должна жить вместе со всеми.

В детстве мне всегда больше нравилось жить с артистами в их вагончиках. Я всегда рвалась спать в женском общежитии: несмотря на обилие тел, запахов и звуков, именно там я ощущала дух единства.

Он кивает, неохотно соглашаясь, в моих словах есть доля истины.

– Мы будем платить вам тридцать в неделю.

В нашем цирке никогда не обсуждали деньги. Зарплаты выплачивались честно, ставка повышалась каждый год. Он достает бумагу из ящика и начинает писать.

– Ваш контракт, – поясняет он.

Удивленная, я смотрю на него. У нас не было контрактов – люди просто договаривались между собой на словах и держали свое слово десятилетиями. Он продолжает:

– Тут просто указано, что если вы захотите покинуть нас

до конца сезона, вам нужно будет заплатить неустойку.

Я чувствую себя подневольной, чего никогда раньше не было, и мне это ужасно не нравится.

– Пойдемте, я покажу вам, где расположиться. – Он ведет меня вниз по холму по направлению к маленьким домикам. Я устремляю взгляд прямо, не оглядываясь в сторону своего прежнего дома. Мы подходим к старому гимнастическому залу, и внутри у меня все сжимается. Когда-то моя семья тренировалась здесь. – Больше его не используют, – поясняет он, как бы извиняясь. Но он был наш. В этот момент я жалею о сделке, которую заключила. Работать на другой цирк – сродни предательству.

Герр Нойхофф идет дальше, но я останавливаюсь перед гимнастическим залом.

– Я должна тренироваться, – говорю я.

– Не обязательно начинать сегодня. Вы, наверное, хотели бы сперва освоиться.

– Я должна тренироваться, – повторяю я. Если я не начну сейчас – не начну никогда.

Он кивает.

– Хорошо. Оставляю вас.

Когда он уходит, я смотрю с подножия холма на долину, в сторону дома своей семьи. Как я могу оставаться здесь, так невыносимо близко к теням прошлого? Лица моих братьев стоят у меня перед глазами. Я буду выступать, тогда как они – не могут.

Дверь гимнастического зала скрипнула, когда я отворила ее. Я ставлю свой багаж, прокручиваю обручальное кольцо на пальце. В разных краях тренировочного зала стоят другие артисты. Некоторые лица мне смутно знакомы из прошлой жизни, а некоторых я совсем не знаю. В дальнем углу тренировочного зала за фортепиано сидит высокий мужчина с длинным невеселым лицом. Наши взгляды встречаются, я не узнаю его, но мне кажется, что мы уже где-то встречались прежде. Он удерживает мой взгляд несколько секунд, после чего отворачивается.

Вдыхаю знакомый запах сена, навоза, дыма сигарет и парфюма, не так уж все и сильно изменилось. Толстый слой канифоли покрывает мой нос изнутри, как будто я никогда отсюда не уходила.

Снимаю обручальное кольцо и кладу его в карман, а затем иду переодеваться на репетицию.

Глава 3

Ноа

Конечно, я не бросила его там.

Я пошла прочь от ребенка, представляя, что эти несколько коротких минут никак не изменили мою жизнь. Грузовик с молоком уедет, и я смогу вернуться к своей работе, делая вид, что ничего не произошло. И остановилась, снова. Я не могу бросить беспомощного младенца, оставив его умирать: а это неизбежно, точно так же, как и в поезде. Я быстро добежала до канистры, пропахшей кислым молоком, и вынула из нее ребенка. Через секунду взревел двигатель, грузовик двинулся вперед. Я обняла ребенка крепче, и он примирительно успокоился в моих объятиях. Руками я чувствовала его тепло. Все было хорошо, в этот короткий момент.

Полицейский, который ходил рядом с поездом прокричал что-то, я не разобрала что. На платформе появился второй охранник с оскалившейся немецкой овчаркой на поводке. В панике я спрыгнула с нее, и ребенок едва не выпал у меня из рук. Прижимая его крепче, я попятилась за угол, а они промчались мимо меня к поезду. Едва ли они заметили, что один из младенцев пропал, их ведь было так много. Но они наверняка заметили предательскую цепочку следов в снегу, которая протянулась от двери вагона, которую я оставила от-

крытой в спешке.

Я отчаянно побежала к той комнатушке, в которой спала. В глубине комнаты стояла ветхая лестница, ведущая на мансарду. Я бросилась к ней, по пути запутавшись в нитках разодранного одеяла. Страхивая его с себя, я стала карабкаться на лестницу. Но держаться я могла только одной рукой, поэтому соскользнула со второй ступеньки, едва не уронив ребенка. Он завыл, выдавая нас.

Приходя в себя, я снова полезла наверх. Голоса становились громче, их прерывал звонкий лай. Я забралась на мансарду – небольшое пространство с низким потолком, пахнущее мертвыми грызунами и плесенью – и стала пробираться через горы пустых коробок к единственному окну. Обломала ногти, пытаюсь открыть его. В лицо мне ударил порыв ледяного ветра. Я наклонилась, просовывая голову в окно, но оно было слишком маленьким. Мои плечи не пролезут в него.

Я услышала, что охрана внизу, они уже зашли в здание. Быстро протолкнула ребенка через окно, на покатуую крышу над платформой, покрытую снегом. Постаралась положить его устойчиво, моля о том, чтобы он не покатился вниз и не заплакал от ледяного холода.

Я закрыла окно и поспешила вниз по лестнице, хватая по пути свой веник. И едва не врезалась в одного из охранников, когда выходила из своего закутка.

– Здравствуйте... – сказала я с запинкой, заставляя себя посмотреть ему в глаза. Он не ответил, но посмотрел на меня

пронизывающим взглядом.

– Простите, пожалуйста, можно я пройду?

Я обошла его, чувствуя на себе взгляд и готовясь к тому, что он прикажет мне остановиться. Выскользнула наружу и притворилась, что сметаю с платформы грязно-серый снег, пока не убедилась, что он на меня не смотрит. Затем я быстро забежала за угол станции, стараясь держаться в тени здания. Посмотрела наверх, на низкую крышу, пытаюсь найти место, где можно забраться наверх. Не отыскав такого, я стала карабкаться вверх по водостоку, ледяной металл доставал до кожи через драные чулки. Когда я забралась наверх, руки жгло от боли. Я потянулась, молясь о том, чтобы ребенок был там. Но пальцы схватили пустоту.

Внутри меня все перевернулось. Немцы обнаружили ребенка? Я потянулась еще немножко, простирая руки дальше, и нащупала краешек ткани. Дернула за него, пытаюсь притянуть ребенка к себе. Но тут он выкатился из-под моих пальцев. Я стала лихорадочно перебирать руками и схватила ткань за секунду до падения ребенка.

Притянула его к себе и быстро спустилась, с трудом удерживая его одной рукой, едва не поскользнувшись. Наконец я добралась до земли и обернула ребенка своим пальто, надежнее спрятав его за пазухой. Но немцы тут, за углом, голоса их совсем близко, и они определенно злые. Боясь задержаться даже на секунду, я побежала, оставляя следы на полотне мягкого снега.

С тех пор, как я убежала со станции, прошло несколько часов. Я не знаю, сколько именно, знаю только, что сейчас на улице глубокая ночь, снова идет снег, небо глухого серого цвета. Наверное – я даже не могу поднять голову, чтобы посмотреть. Однако метель становится все сильнее, острые льдинки режут глаза, заставляя меня все сильнее опускать подбородок. Я иду в противоположную сторону от холмов, к убежищу леса, но земля, которая казалась ровной издалика, на самом деле вся в ямах и ухабах, и мои ноги быстро устали. Стараюсь держаться ближе к ровной тропинке, которая идет совсем близко к кромке леса. Я нервно оглядываюсь на узкую дорогу, параллельную деревьям. До сих пор, на мое счастье, на ней никого не было.

Пробираясь по этим бесконечным белым полям, я вспоминаю нашу крошечную ферму, расположенную так близко от побережья Дании, ее воздух, плотный от соли и прохладный от Северного моря, там жили только мы с родителями. Нам повезло избежать воздушных атак, которые превратили Роттердам в руины, однако оккупация проходила тяжело. Немцы хотели укрепить позиции в прибрежных городах, перерыли все пляжи, так что там больше нельзя было гулять, повсюду разместили своих солдат – так я и встретила того, который стал отцом моего ребенка.

Он не принуждал меня. Если бы это было так или если бы я сделала вид, что это было так, мои родители, возможно, были бы более милосердны. Он даже не пытался что-то пред-

принять, когда останавливался на нашей ферме, хотя по его долгим взглядам я понимала, что ему было нужно. Его высокая фигура с широкими плечами казалась слишком крупной для небольшого загородного домика, он был как мебель, не подходящая дому по размеру. Мы все выдохнули с облегчением, когда он переехал в новое жилище. Но он вернулся, принес в знак благодарности с полдюжины свежих яиц, которых мы не видали с самого начала войны, и старый шоколад. Я была истощена, военное положение началось еще с тех пор, как мне исполнилось двенадцать, отняв у меня все танцы и нормальные вещи, которыми я могла бы заниматься, будучи подростком. Первый раз с солдатом, тоже совсем юным, – мне тогда казалось, что я не такая, как все.

Поэтому, когда он пришел ко мне ночью, проникнув через черный ход в мою холодную узкую кровать, я чувствовала себя особенной и была взбудоражена его прикосновениями: он был мужчиной, в отличие от неуклюжих мальчишек, которых я знала по школе. На его униформе не было таких же знаков отличия, как на эсэсовце, который уводил Стеффи Кляйн. Он был простым солдатом, только что призванным в армию. Он не был одним из них. Мои воспоминания о той ночи были туманными как полузабытый сон, полный страсти, а затем боли, из-за которой мне пришлось заткнуть себе рот, чтобы родители не услышали мой крик. Все закончилось быстро, оставив меня с неудовлетворенным желанием и ощущением, что должно быть что-то кроме этого, что-

то большее.

А потом он ушел. Немец больше не приходил, а два дня спустя я узнала, что их часть перевели в другое место. Я знала, что совершила ошибку. И только месяц спустя я осознала, насколько серьезной была эта ошибка.

Конец всему наступил неожиданно, в необычайно теплый весенний день. Утреннее солнце согревало деревню Схевенинген, чайки перекрикивались, летая над фьордом. Я лежала в постели, и в этот чудный момент даже получалось на пару минут забыть о войне.

Затем дверь моей комнаты распахнулась настежь, в вытращенных глазах моего отца горел огонь – он знал.

– Вон!

Я смотрела на него, не веря своим глазам. Как он мог узнать? Я никому не говорила. Я не надеялась, что все будет оставаться в секрете, но у меня совершенно точно был в запасе месяц или около того, чтобы выяснить, что делать дальше. Видимо, мама, которая ненадолго заходила ко мне, когда я переодевалась несколько дней назад, заметила мой округлившийся живот. Учитывая сроки, когда немец жил с нами, нетрудно было догадаться.

Мой папа был преданным голландцем и гордился этим, его хромота, полученная во время Мировой войны, служила доказательством его убеждений. Моя интрижка с немцем была для него величайшим предательством. Конечно, он не хотел для меня такой судьбы, не хотел прогонять меня, свою

единственную шестнадцатилетнюю дочь. Но тот же человек, который когда-то завязывал мне шнурки и нес меня на своих плечах, теперь без тени жалости держал дверь открытой, чтобы я прошла через нее в последний раз.

Я ожидала, что он ударит меня или будет ругать, но он просто указал на дверь.

– Уходи.

Он не смотрел мне в глаза.

– Нет! – кричала мама, когда я уходила. Но в ее голосе не было силы. Когда она побежала за мной, мне стало легче на душе. Возможно, хоть раз она встанет на мою защиту, будет бороться за меня. Однако она просто всунула мне деньги, которые припрятала на черный день. Я думала, что она обнимет меня.

Она этого не сделала.

Вдали раздается низкий и протяжный гудок. Я пячусь, спрятавшись за деревом, поезд появляется с той стороны, откуда мы пришли, пересекая белоснежное поле точно змея. Не могу утверждать это наверняка, но издалека этот поезд выглядит совсем как тот, из которого я вытащила младенца. Он едет на восток, как и другие поезда с евреями. Детей забирали, точно так же, как забрали моего, но эти забирали из семей, где оба родителя любили своего ребенка, где он был желанным. Подавив всхлип, я отхожу от деревьев, мечтая побежать за поездом и забрать других детей, как забрала этого. Младенец в моих руках теплый и тяжелый, вот она, та

единственная жизнь, которую я спасла.

Спасла – во всяком случае, на данный момент. Небо за удаляющимся поездом становится светлее с востока. Скоро начнется рассвет, а мы все еще слишком близко к вокзалу. Полиция могла появиться в любой момент. Идет сильный снегопад, от него мое тонкое пальто промокает, холод добирается до ребенка под ним. Надо продолжать идти. Я иду в глубь леса, туда, где меня не будет видно. Воздух здесь неподвижен, здесь та тишина, которая появляется только со снегом. Я чувствую слабость, в течение нескольких месяцев работы на станции я ела очень мало, во рту сухо от жажды. За деревьями ничего не видно, одна только бесконечная белизна. Пытаюсь вспомнить свой путь из женского приюта, чтобы понять, как далеко до ближайшей деревни. Но даже если мы доберемся туда, никто не станет рисковать жизнью и прятать нас.

Я перекидываю ребенка, чтобы его вес приходился на другую мою ногу, стряхнув снег с его лба. Как давно он ел? С момента, как мы покинули станцию, он не двигался и не плакал, и я начинаю переживать, дышит ли он. Я спешу отойти к скоплению деревьев и немного разворачиваю его из тряпки, держа поближе к себе, чтобы ему было теплее. Глаза закрыты, он спит – я надеюсь, это так. Его губы потрескались и кровят от недостатка влаги, но грудь размеренно поднимается и опускается вновь. Ноги у него как ледышки.

Без особой надежды обвожу взглядом лес, вспоминая дру-

гих детей в поезде, большинство которых уже умерли. Надо было взять для этого младенца их пеленки. Отгоняю от себя эту мысль. Расстегиваю пальто и блузку, морщась от льда и снега, касающихся кожи. Я прикладываю ребенка к груди, надеясь, что из этих мелких точек, появится немного водянистой серой жидкости, которую я сцеживала, чтобы снять напряжение в груди, это было уже почти четыре месяца назад. Но у меня все выходит неловко: никто не учил меня, как надо кормить грудью, а ребенок слишком слаб, чтобы сосать самостоятельно. Грудь болит и тянет, но из нее ничего не выходит. Молоко ушло, иссякло. После того, как я родила, медсестра сказала, что есть женщины, которые заплачат мне за молоко. Я покачала головой, как бы мне ни были нужны деньги, я не хотела, чтобы и это у меня забрали. После того, как я осталась без ребенка, мне отчаянно хотелось отделаться от всего этого как можно скорее.

Мой ребенок. Иногда я мечтала о том, чтобы никогда и не держать его в руках, чтобы не вспоминать то, каким были его тело и голова. Тогда, возможно, мои руки бы не отзывались болью каждую секунду. Однажды я задумалась о том, как бы я его назвала. Но когда имена появлялись в моей голове, я испытывала острую боль, поэтому я запретила себе эти мысли. Я гадала, как его теперь зовут, молясь о том, чтобы он попал к людям, которые позаботились бы о нем, дали бы ему действительно хорошее, сильное имя.

Отгоняя мысли о собственном ребенке, я осматриваю то-

го, который лежит в моих руках. У него немного квадратное лицо, полные щеки и идеально ровный заостренный подбородок. Форма лица отчетливая, и я понимаю, что где-то там есть целая семья – о, пожалуйста, пусть они все еще есть – с лицами точно такой же формы.

Позади меня, в отдалении, за деревьями, что-то трещит. Я оборачиваюсь, шурю, чтобы увидеть что-то сквозь снегопад, но в стороне, откуда мы пришли, ничего не видно из-за плотно переплетенных веток и низкой растительности. Мое сердцебиение учащается. Это может быть двигатель машины. Хотя сейчас мы надежно спрятаны за деревьями, недалеко от кромки леса пролегает дорога. Если за нами следует полиция, то мои следы на снегу быстро приведут их сюда. Я задерживаю дыхание, чувствуя себя животным, на которое охотятся, вытягиваюсь в струнку, пытаюсь вслушаться в тишину в поисках голосов или других звуков. Ничего – во всяком случае, пока.

Застегивая пальто, я пробираюсь дальше через деревья. Держать ребенка неудобно, приходится делать это одной рукой – второй я убираю низко висящую ветку с дороги. Снег с нее, ледяной, мокрый, падает прямо мне за воротник. Промокшие ноги в разодранных подержанных ботинках начинают болеть.

Ребенок становится тяжелее с каждым моим шагом. Я замедляюсь, тяжело дыша, затем нагибаюсь, зачерпнув ладонью снега, чтобы справиться с сухостью во рту, холод обжи-

гает пальцы через дырки в перчатках. Выпрямляюсь, едва не уронив ребенка. Хочет ли он пить? Если я дам ему немного снега, ему станет лучше или хуже? Даже не знаю. Я держу его на расстоянии вытянутой руки и внезапно чувствую себя такой беспомощной. Я столько не знаю. Я никогда не держала ребенка, не считая той единственной секунды, когда только родила, и уж тем более я никогда не заботилась о ребенке. Я хочу оставить его здесь. С пустыми руками я смогу дотянуть до ближайшей деревни. Он бы все равно умер в том вагоне. Что там, что тут – какая разница?

Ручка ребенка, размером не больше грецкого ореха, вдруг вздымается и, схватив мой палец, крепко держится за него. Что он думает, когда смотрит вверх и видит лицо, совсем не похожее на то, которое он знал с рождения? Он практически того же возраста, какого был бы сейчас мой ребенок. Я представляю мать, чьи шрамы до сих пор болят, как и мои. Я смотрю на этого ребенка, и мое сердце смягчается. У него когда-то было имя. Как может ребенок, слишком маленький, чтобы знать собственное имя, найти своих родителей? Я хочу, чтобы он дышал, чтобы он держался до тех пор, пока мы не найдем укрытие.

Я нежно укладываю его голову, перед тем как снова завернуть его в пальто. Затем я делаю новый рывок, пробираясь вперед с удвоенной силой. Но ветер стал сильнее, покрытые снегом ветви деревьев бьют в лицо, становится тяжело дышать. Вторая остановка была ошибкой. Кроме вокзала, здесь

нет ничего в пределах многих километров. Если мы останемся, мы умрем, этот ребенок умрет точно так же, как если бы остался в поезде.

– Я смогу! – кричу я во всеуслышание, в своем отчаянии забыв о том, что меня не должны услышать.

В ответ мне ветер завывает еще громче.

Я снова пытаюсь двигаться вперед. Мои пальцы онемели, ноги свинцовые. Каждый шаг против резкого ветра дается все тяжелее. Снег превращается в изморозь, покрывая нас ледяной коркой. Картинка вокруг как-то странно посерела по краям. Глаза ребенка закрыты, он смирился с судьбой, которая изначально была ему предначертана. Я делаю еще один шаг, оступаю, снова встаю.

– Прости меня, – говорю я, не в силах больше удерживать его. Затем я падаю вперед, и все погружается во тьму.

Глава 4

Астрид

Скрип поворачивающейся дверной ручки, чьи-то руки давят на твердое дерево. Сперва кажется, что это пришло из мутного сна, который я не могу разобрать.

Звуки повторяются, на этот раз громче, дверь со скрежетом открывается. Я удерживаю себя на месте. Меня охватывает сильный ужас. Инспекции нередко приходили без предупреждения в течение тех пятнадцати месяцев со дня моего возвращения. Гестапо или местная полиция, которая выполняет их работу. Они пока не заметили меня и не требовали *ausweis*¹⁴, которую добыл мне герр Нойхофф – идентификационную карточку, которой, к сожалению, может быть недостаточно. Моя репутация на сцене одновременно и подарок судьбы, и проклятие здесь, в Дармштадте: она дает мне средства на существование, но делает мою фальшивую личность лишь тонкой фанерой, за которой невозможно спрятаться. Поэтому, когда приходят проверяющие, я исчезаю под одним из вагонов, покрытых брезентом, или же, если времени совсем нет, – в лесах. Но здесь, в вагоне Петра, без подвала, с единственной дверью, я в ловушке.

Глубокий мужской голос разрезает темноту.

¹⁴ Удостоверение (*нем.*).

– Это всего лишь я.

Руки Петра, прикосновения которых я так часто чувствую по ночам в последние месяцы, уводят меня из страшных снов прошлого, которые меня не покидают, нежно массируя мою спину.

– Нашли кого-то в лесу.

Я перекатываюсь на другой бок.

– Кто нашел, ты? – спрашиваю я. Петр почти не спит, он ходит по ночам, рыщет по округе, как беспокойный волк, даже в самую глухую зиму. Я протягиваю руку, чтобы коснуться щетины на его щеке, с огорчением замечая, что мешки под его глазами стали еще больше.

– Я был рядом с ручьем, – ответил он. – Думал, это раненое животное.

Гласные у него огубленные, и «вэ» больше похожа на «уэ», его русский акцент ничуть не изменился, он как будто уехал из Ленинграда несколько недель, а не несколько лет назад.

– И естественно, ты подошел поближе, – говорю я ворчливым тоном. Я бы пошла в противоположную сторону.

– Да. – Он помогает мне встать. – Они были без сознания, поэтому я принес их сюда. – От него чувствуется запах спиртного, он пил совсем недавно, не успел протрезветь.

– Они? – повторяю я, теперь с вопросительной интонацией.

– Женщина. – Меня разбирает ревность, когда я представляю, что он держит на руках кого-то, кроме меня. – Еще там

был ребенок. – Он достает самокрутку из кармана.

Женщина и ребенок, одни в лесу, ночью. Это дико, даже для цирка. От странных вещей – или незнакомцев – ничего хорошего быть не может.

Я поспешно одеваюсь и натягиваю пальто. Под отворотом я нащупываю грубый контур распоротых ниток, там, где раньше была пришита желтая звезда. Иду за Петром в леденящую темноту, опуская подбородок ниже, чтобы защититься от кусачего ветра. Его лачуга – одна из полудюжины, разбросанных по пологому склону долины. Отдельный квартал для старших, самых опытных артистов. И хотя мое официальное жилье находится в доме, длинном, отдельно стоящем здании, где спала большая часть девушек, довольно быстро я стала проводить все время у Петра. Сновала туда-сюда ночью или перед рассветом, пользуясь любимым предлогом.

Когда я вернулась в Дармштадт, я предполагала, что останусь здесь только до тех пор, пока герр Нойхофф найдет воздушную гимнастку на замену, а я заодно разберусь, куда мне дальше идти. Но договор действовал, и по мере подготовки к первому туру здесь, мои надежды куда-то уехать улетучивались. А потом я познакомилась с Петром, который присоединился к цирку Нойхоффа тогда, когда меня здесь не было. Он был клоуном, но не тем образом в шутовском наряде, который возникает в голове любого человека, не связанного с цирком. Его выступления были особенными, тщательно продуманными, он сочетал комедию, сатиру и иронию с та-

ким талантом, какого я не встречала прежде.

Я не ожидала, что снова буду с кем-то, и уж тем более, что влюблюсь. Петр на десять лет меня старше и совсем не такой, как все остальные артисты. Он был родом из русских аристократов, когда те еще существовали, некоторые даже говорили, что он двоюродный брат царя Николая. При других обстоятельствах мы бы никогда не встретились. Однако цирк – великий уравниватель. Кем бы мы ни были по классу, национальности или жизненному опыту, здесь мы одинаковы, всех нас оценивают только по таланту. Петр сражался в Мировой войне. У него не было ранений, во всяком случае, заметных, но в нем была такая меланхолия, что становилось очевидно – он так и не оправился от войны. Его грусть откликнулась во мне, нас притянуло друг к другу.

Я собираюсь идти к дому, где живут все девушки. Петр качает головой и ведет меня в другую сторону.

– Туда. – Огонек его самокрутки мерцает в темноте точно крошечный факел.

Прибывшие в доме герра Нойхоффа – это тоже весьма необычно.

– Они не могут остаться, – шепчу я. Как будто кто-то еще может меня здесь услышать.

– Конечно, – отвечает Петр. – Просто временное убежище, чтобы они не погибли в метели. – Меня накрывает его тенью. Его талант клоуна кажется невероятным не только из-за его печали. Однажды он рассказал мне: когда он впервые

пытался попасть в цирк, его не взяли, сказав, что он слишком высокий для клоуна. Тогда он пошел учиться в театр в Киеве, создал своего иронического персонажа, который идеально подходил его угловатым чертам и длинным ногам, и стал переходить из цирка в цирк, становясь все известнее благодаря своей актерской игре. Экцентричные комические выступления Петра, часто демонстрирующие неуважение к власти, известны повсеместно. В годы войны его номера становились все язвительнее, и все более очевидной – его ненависть к войне и фашизму. Чем более дерзкими и непочтительными становились его шутки, тем больше приходило зрителей.

Он открывает дверь особняка, с момента моего приезда я заходила сюда только на праздник, который герр Нойхофф устраивал для всего своего цирка каждый год в декабре, ну и еще пару раз. Мы проходим не стучась. На самом верху лестницы стоит герр Нойхофф и подзывает нас к себе. В одной из комнат для гостей спит девушка с длинными светлыми волосами, лежа под балдахинном кровати из красного дерева. Ее бледная кожа кажется почти прозрачной на фоне простыней винного цвета.

На низком столике подле нее, в импровизированной колыбели, сделанной из большой плетеной корзины, лежит ребенок. Маленький Моисей, найденный в Ниле, смотрит на нас темными любопытными глазами. Ребенку едва ли больше нескольких месяцев, как мне кажется, хотя у меня и нет опыта в таких делах. У него длинные ресницы и круглые ще-

ки, которые редко увидишь в наши тяжелые времена. Очаровательный – но разве не все они очаровательны в этом возрасте?

Герр Нойхофф кивает на ребенка.

– Перед тем, как потерять сознание, она сказала, что это ее брат.

Мальчик.

– Но откуда они пришли? – спрашиваю я. Герр Нойхофф только пожимает плечами.

Девушка крепко спит. С чистой совестью, как сказала бы моя мама. У девушки толстые светлые косы, она точно сошла со страницы сказок Ганса Христиана Андерсена. Она могла быть одной из членов Союза немецких девушек, прогуливаться по Александерплац¹⁵ под ручку с подругами, петь мерзкие песни о родине и убийстве евреев. Петр назвал ее женщиной, но ей вряд ли больше шестнадцати. Я чувствую себя такой старой и потрепанной по сравнению с ней.

Девушка пошевелилась. Внезапно она вытягивает руки, пытаясь найти ребенка, это движение я знаю слишком хорошо по своим собственным снам. Не находя его, она начинает метаться.

Наблюдая ее отчаянные движения, я замечаю, как в голове проносится: «Это точно не ее брат».

Герр Нойхофф поднимает ребенка и кладет его к рукам этой молодой женщины, и она тут же успокаивается.

¹⁵ Центральная площадь Берлина.

– Waar ben ik?

Голландский.

Жмурясь, она повторяет вопрос на немецком: – Где я? – У нее тонкий дрожащий голос.

– Дармштадт, – отвечает герр Нойхофф. На ее лице не отразилось узнавание. Она не из этих мест.

– Вы в цирке Нойхоффа.

Она хлопает глазами.

– Цирк.

Для нас это что-то обыденное – действительно, больше половины жизни я не знала ничего, кроме цирка, – а для нее это что-то из сказок. Цирк уродов. Я напрягаюсь, моментально вспоминая, как одна недружелюбная девочка лежала лицом вниз на школьном дворе. Валите ее на снег, если она считает, что мы какие-то не такие.

– Сколько тебе лет, девочка? – мягко спрашивает герр Нойхофф.

– Семнадцать в следующем месяце. Я ушла из родного дома, – говорит она, ее немецкий становится лучше. Меня зовут Ноа Вейль, это мой брат. – Она слишком торопится ответить на вопросы, которых никто не задавал.

– Как его зовут? – спрашиваю я.

Небольшая заминка.

– Тео. Мы из Голландии, с побережья, – говорит она, снова сделав паузу. – Все было очень плохо. Отец пил и избивал нас. Мать погибла при родах. Поэтому я взяла брата, и мы

убежали. – Что она делает здесь, за сотню миль от дома? Кто додумается бежать из Голландии в Германию в такое время. Ее история неправдоподобна. Я полагаю, что герр Нойхофф сейчас спросит, есть ли у нее документы.

Девушка осматривает ребенка бегающим взглядом.

– Он в порядке?

– Да, он хорошо поел перед тем, как заснуть, – уверяет ее герр Нойхофф.

Девушка хмурится.

– Поел?

– Попил, если быть точным, – поправился герр Нойхофф. – Какая-то смесь, которую наш повар сделала из сахара и меда. Девушка наверняка была бы в курсе, если бы она сама заботилась о ребенке.

Я отхожу назад, к Петру, который сидит в кресле у двери, откинувшись на спинку.

– Она лжет, – говорю я, понизив голос. Эта дурочка, видимо, забеременела. Впрочем, никто не говорит о таких вещах вслух.

Петр отстраненно пожал плечами.

– У нее были свои причины бежать. Как и у всех нас.

– Ты можешь остаться здесь, – говорит герр Нойхофф. Я смотрю на него, не веря своим ушам: о чем он только думает? Он продолжает: – Но, конечно же, ты должна будешь работать, когда поправишься.

– Конечно. – От самого предположения, что она надеялась

на милостыню, девушка садится, резко выпрямив спину. – Я могу убираться и готовить.

Я фыркаю от ее наивности, представляя ее на кухне, делающей блинчики или чистящей картошку на сотни человек.

Герр Нойхофф отмахивается.

– Что до поваров и уборщиков, у нас их достаточно. Нет, с твоей внешностью это будет пустой растратой. Я хочу, чтобы ты выступала.

Петр бросает на меня озадаченный взгляд. Новых артистов набирают по всей Европе, а то и за ее пределами, за рабочие места идет тяжелая борьба, у тебя есть шанс, только если ты тренировался всю свою жизнь. Нельзя просто найти талант на улице – или в лесу. Герр Нойхофф знает об этом. Он поворачивается ко мне.

– Тебе ведь нужна новая воздушная гимнастка, верно?

У девушки, сидящей за его спиной, расширяются глаза.

Я медлю. Раньше в нашей программе было с дюжину гимнастов, они делали синхронные трюки, кувыркались в воздухе один за другим. Но теперь нас всего трое, и с самого моего возвращения я ограничена корд лисс¹⁶ и испанской паутиной¹⁷.

– Это так, но ведь она никогда не выступала. Я не могу

¹⁶ «Гладкая веревка» – навык или номер в цирковой программе, во время которого исполняются трюки на вертикальном канате.

¹⁷ Навык или номер в цирковой программе, во время которого исполняются трюки на одноименном устройстве, напоминающем вертикально висящую веревку, техника похожая на корд лисс, но на испанской паутине есть петли.

просто взять и научить ее выступать на трапедии. Возможно, она сможет ездить на лошади или продавать программки. Есть куча более простых работ. – Что навело герра Нойхоффа на мысль, что она может выступать? Обычно я могу учуять талант за милю. Здесь я не вижу ничего выдающегося. Он пытается сделать из утки лебедя, и этот план обречен на провал.

– У нас нет времени искать другую воздушную гимнастку, – отвечает герр Нойхофф. – У нее подходящая внешность. У нас есть почти шесть недель, а потом мы выезжаем.

Он не смотрит мне в глаза, когда говорит это. Шесть недель – это лишь мгновение ока по сравнению с тем количеством тренировок на протяжении всей жизни, которое было у всех остальных. Он просит меня совершить невозможное и знает об этом.

– Она слишком крупная для гимнастки, – говорю я, критически оценивая ее тело. Даже под одеялом видно, что оно округлое в боках и бедрах. Она слабая, у нее мягкая нетренированная талия, она так наивна, очевидно, что она никогда не знала тяжелого труда. Она не пережила бы эту ночь, если бы Петр не нашел ее. Она не продержится здесь и недели.

Я слышу шорох позади и оборачиваюсь. Из дверного проема смотрит на нас Эммет, сын герра Нойхоффа, уголок его рта, точно сделанного из теста, заворачивается в ухмылке, когда он замечает, что мы не сошлись во мнениях. Он всегда

был странным ребенком, шутил подлые шутки и попадал в неприятности.

– Боишься, что кто-то затмит тебя, а? – насмешливо ухмыляется он.

Я смотрю в сторону, игнорируя его. Сравнивая ее внешность со своей, как это делают все женщины, не могу не признать: эта девушка красивее меня. Но внешность не поможет ей здесь. В цирке важнее всего талант и опыт – а их у нее нет.

– Она не может остаться, – говорит Петр со своего места, я вздрогнула от силы в его голосе. Герр Нойхофф добрый человек, но это его цирк и даже такие звезды, как Петр, не смели открыто возражать ему.

– Я хочу сказать, что ей придется уйти, как только ей станет лучше, – поясняет он.

– Куда? – спрашивает герр Нойхофф.

– Не знаю, – признает Петр. – Но как она может оставаться? Одинокая девушка с ребенком, начнутся вопросы.

Он думает обо мне, о том, какие дополнительные расследования и какую опасность может принести их появление. Моя истинная личность и прошлое известны почти всем внутри цирка, однако нам удавалось сохранять эту тайну от людей извне – до сих пор, во всяком случае.

– Мы не можем рисковать, привлекая внимание.

– Проблем не будет, если она будет частью нашей программы, – возражает герр Нойхофф. – В цирк постоянно приходят новые артисты.

«Раньше приходили», – мысленно исправляю его я. Множество новых артистов приходило в цирк раньше – когда-то у нас были дрессировщики из Сербии, жонглер из Китая. Но за последние годы цирк увял. Теперь просто-напросто нет денег, чтобы расширять труппу.

– Чья-нибудь двоюродная сестра из другого цирка, – предлагает герр Нойхофф, раскрывая свой план. Наши сотрудники будут знать, что это не так, но временных работников такое объяснение, скорее всего, устроит. – Если она будет готова выступать, никто не заметит, – добавляет он.

Это правда, зрители не заметят: они исправно ходят на выступления, но не видят выступающих нигде, кроме сцены.

– Это очень любезно с вашей стороны, предлагать мне место, – вмешивается девушка. Она пытается подняться с кровати, не отпуская ребенка, но сама попытка, похоже, лишает ее всех сил, и она снова откидывается на подушки.

– Но мы не хотим быть обузой. Как только погода наладится и мы немного отдохнем, мы отправимся в путь. – Я вижу панику в ее глазах. Им некуда идти.

Получив подтверждение своим словам, я поворачиваюсь к герру Нойхоффу.

– Видите, она не сможет.

– Этого я не говорила. – Девушка снова выпрямляется, поднимает подбородок. – Я работоспособная и уверена, что при достаточном количестве тренировок я справлюсь. – Внезапно она как будто загорелась идеей показать, на что она

способна, хотя всего минуту назад не хотела даже пытаться: я узнаю в ней дух противоречия, присущий и мне самой. Понимает ли она, во что собирается ввязаться?

– Но мы никак не успеем ее подготовить, – повторяю я, пытаюсь найти другой довод, чтобы убедить его, что это не сработает.

– Ты сможешь, Астрид. – Теперь в голосе герра Нойхоффа решительность. Вместо того, чтобы уговаривать меня, он в одном шаге от того, чтобы отдать мне приказ. – Ты нашла здесь убежище. Ты должна сделать это. – Его глаза прожигают меня насквозь. Так вот, значит, как я буду отдавать свой долг. Весь цирк рискует собой, чтобы укрыть меня, а теперь я должна сделать то же самое для незнакомки. Его выражение лица смягчается. – Два невинных человека. Если мы им не поможем, они наверняка погибнут. Я не хочу, чтобы их смерть лежала на моей совести. – Он не сможет так просто развернуть девушку с ребенком, как мог бы меня.

Я встречаюсь взглядом с Петром, и он открывает рот, чтобы снова возразить, что мы слишком сильно рискуем. Но он молчит, зная, как и я, что дальнейшие препирательства не приведут ни к чему хорошему.

– Ладно, – говорю я наконец. И все же у просьбы герра Нойхоффа есть пределы. – Шесть недель, – говорю я. – Я постараюсь подготовить ее до начала тура. Но если не выйдет, то она должна будет уйти. – Я никогда не выступала против него, и на секунду ко мне возвращается ощущение того, что

мы равные соперники. Но это все в прошлом. Я встречаюсь с его пристальным взглядом, стараясь не моргать.

– Договорились, – уступает он, удивляя меня.

– Мы начинаем завтра, на рассвете, – произношу я. Шесть недель или шесть лет – не важно, она все равно не сможет. Девушка внимательно смотрит на меня, я ожидаю, что она возразит мне. Однако она продолжает молчать, в ее больших испуганных глазах заметен проблеск благодарности.

– Но она ведь только что едва не околела, – возражает герр Нойхофф. – Она измотана. Ей нужно восстановиться.

– Завтра, – настаиваю я. У нее ничего не получится, и с ней будет покончено.

Глава 5

Ноа

Она приходит за мной перед рассветом.

Я уже не сплю, на мне чей-то халат. Незадолго до этого я подскочила в постели, просыпаясь от кошмара, меня трясло. Мне снился сон о том, что я вернулась в тот вагон на станции, во второй раз, но не для того, чтобы спасти больше детей, а потому что я каким-то образом знала, что среди них есть и мой ребенок. Но когда я открыла дверь вагона, он оказался пуст. Я залезла в кромешную тьму и кричала от того, что мои руки натыкались на одну лишь пустоту.

Я пробудилась ото сна, надеясь, что я кричала не наяву и не напугала жителей этого странного дома. Я попыталась снова закрыть глаза. Надо было вернуться и спасти своего ребенка. Но картинка уже исчезла.

Когда я немного пришла в себя, то потянулась к ребенку, мирно спавшему в корзине возле моей кровати. Я прижала его к себе, его тепло успокаивало меня. Глаза привыкли к темноте комнаты, немного разбавленной лунным светом, проникающим в комнату сквозь занавески, подвязанные витыми шнурами. В камине в углу догорал огонь. Я никогда не видела такой величественной мебели. Я вспоминаю тех странных людей, собравшихся вчера, когда я проснулась:

круглого владельца цирка, женщину, которая смотрела на меня с большой неприязнью, мужчину с вытянутым лицом, который сидел на кресле и наблюдал. Они похожи на персонажей рассказов, которые мама читала мне, когда я была еще ребенком. Цирк, говорили они, – трудно поверить, что этот мир до сих пор существует, даже во время войны. Проснись я на луне – и то, наверное, удивилась бы меньше. Я была в цирке лишь однажды, когда мне было три года, и я плакала от ослепительно яркого света и громких звуков, пока отец не увел меня из палатки. И вот я здесь. Это странно, но не страннее, чем найти вагон, полный младенцев. Не страннее всего того, что случилось со мной с тех пор, как я ушла из дома.

Я смотрю на ребенка, недавно помытого и уютно устроившегося в моих руках. Тео, почему-то я назвала его так, когда они спросили. Не знаю, откуда это имя появилось в моей голове. Он спит у меня на предплечье, и я держу руку неподвижно, чтобы не побеспокоить его. У него умиротворенное выражение лица, щеки порозовели. Где же он спал до того, как его положили в поезд? Я представляю теплую детскую кроватку, руки, которые гладили его по спине, чтобы успокоить. Молюсь о том, чтобы мой собственный ребенок спал где-нибудь в безопасности, так же, как этот.

Вчера вечером они обсуждали меня так, как будто меня там и не было. «У нее внешность как раз для цирка, ты так не думаешь?» – сказал владелец цирка, когда я лежала с закры-

тыми глазами и они думали, что я их не слышу. Они оценивали меня, как лошадь на рынке. Я хотела подняться, сказать «спасибо, конечно, но нет», забрать ребенка и уйти в ночь. Но за окном завывал жуткий ветер, а холмы казались бесконечным белым морем. Если я с Тео снова отправлюсь в путь, до следующего дома мы уже не дойдем. Поэтому я позволила им обсуждать меня. В любом случае, это не наше место. Мы побудем здесь, чтобы скопить немного денег, а потом уйдем. Куда мы пойдём – этого я не знаю.

– Мы будем платить тебе десять марок в неделю, – сказал владелец цирка. Сумма показалась мне неоднозначной, но не настолько низкой, чтобы подумать, что он воспользовался моим положением. Должна ли я была попросить больше? Вполне возможно, что это очень щедрое предложение для того, кто никогда не выступал. Я так мало знаю о деньгах, и я не в той ситуации, чтобы торговаться.

После того, как эти цирковые работники закончили меня обсуждать, они вышли из комнаты, и я заснула. В какой-то момент я проснулась и пошла искать в темноте уборную. Несколько раз что-то громыхало вдалеке, отражаясь эхом в холмах. Видимо, бомбежка, как те, которые я так часто слышала, работая на вокзале. Но сейчас они были достаточно далеко, поэтому не вызывали тревоги.

В комнату никто не заходил, до этого момента. Услышав шаги в коридоре, я аккуратно сползаю с кровати, чтобы не разбудить Тео, хочу открыть дверь до того, как в нее посту-

чат. В полутьме передо мной стоит женщина, они звали ее Астрид; та самая, которая вчера смотрела на меня с неприязнью, лунный свет позади нее окутывает ее странным свечением. Ее угольно-черные волосы подстрижены коротко и завиваются на концах, обрамляя лицо. На ней нет украшений, кроме пары золотых сережек с маленькими алыми камешками. У нее очень экзотичная красота, ее достаточно крупные черты лица идеально сочетаются друг с другом. Она не улыбается.

– Ты спала достаточно, – объявляет она без приветствий или предисловий. – Пора вставать и браться за работу. Она бросает в мою сторону трико, выцветшее, с заштопанными носками. – Ты должна надеть вот это. – Понятия не имею, куда делась моя одежда, промокшая и изодранная в клочья. Я жду, когда она уйдет, чтобы я могла переодеться, но она лишь слегка отворачивается. – Мы не можем терять ни дня. Я буду учить тебя – ну, попытаюсь, во всяком случае. Не думаю, что тебе это по силам, но если справишься – сможешь ездить с нами.

– Учить чему? – спрашиваю я, жалея, что не спросила вчера, когда сказала, что смогу.

– Летать на трапеции, – отвечает она.

Я слышала, что они обсуждали это вчера вечером. Теперь я вспоминаю, что они говорили что-то про воздушную гимнастику. В тумане своего измотанного состояния я не смогла сообразить, что именно это значит. Теперь осознание, на-

сколько это безумное предложение, обрушилось на меня со всей силой: они хотят, чтобы я забиралась под потолок и рисковала своей жизнью, раскачиваясь, как обезьянка. Меня здесь никто не держит. Я не обязана это делать.

– Вы очень добры, но я не думаю, что... – Я не хочу оскорбить ее. – Я не смогу. Я могу убираться или, возможно, готовить, – предлагаю я те же варианты, что вчера.

– Герр Нойхофф владеет этим цирком, – сообщает она. – И он хочет, чтобы ты училась. – У нее идеальная дикция, она как будто не из этих мест. – Конечно же, если ты не справишься... Тогда, возможно, у тебя есть богатый дядюшка, который готов забрать тебя к себе? – Она говорит это с насмешкой, но в ее словах есть доля истины. Я не могу вернуться на вокзал, там уже точно заметили, что мы с ребенком пропали. Одна я могла бы уйти в бега. Но лютый мороз едва не убил нас. Мы не выдержим второго раза.

Прикусываю губу.

– Я попробую. Две недели. – За две недели я стану сильнее и придумаю, куда нам с Тео отправиться. Конечно же, мы не останемся в цирке.

– Мы даем тебе шесть. – Она пожимает плечами, ей, похоже, все равно. – Пойдем. – Я переодеваюсь в трико настолько скромно, насколько это возможно сделать под ночнушкой.

– Подождите, – останавливаюсь я в нерешительности, глядя на Тео, который продолжает спать на кровати.

– Твой брат, – говорит она, подчеркивая второе слово. –

Тео, не так ли?

– Да.

Она на минуту задерживает свой взгляд на мне. Затем поднимает ребенка с кровати. Я борюсь с желанием ее остановить, сама идея о том, что кто-то другой будет держать его на руках, для меня невыносима. Она укладывает его в колыбельку.

– Я попросила горничную, Грету, чтобы она заходила и присматривала за ним.

– У него колики, – говорю я.

– У Греты своих шесть. Она справится.

И все же я не решаюсь уйти. Дело не только в том, что я переживаю за Тео: если горничная будет менять его пеленки, она узнает, что он еврей. Я обращаю внимание на его чистые пеленки и понимаю, что уже слишком поздно. Кто-то уже знает правду о его происхождении.

Я следую за Астрид к лестнице мрачного дома, в воздухе пахнет плесенью и гарью. Затем я надеваю свои сапоги, они стоят у входной двери, все еще мокрые. Она протягивает мне мое пальто, и я замечаю, что сама она идет без верхней одежды. У нее безупречная фигура, тонкие ноги, скрывающие истинную силу, идеально плоский живот, какой был у меня до рождения ребенка. Она ниже, чем мне показалось вчера. Но ее тело похоже на статую, элегантные линии, будто высеченные из гранита.

На улице мы тихо идем через широкое поле, лед хрустит

под нашими ногами. Однако воздух сухой и мягкий, если бы вчера была такая погода, я бы пошла дальше в лес, не потеряв сознание. Ярко светит луна. Ночное небо усыпано звездами, и на секунду мне кажется, что каждая из них – это младенец из поезда. Где-нибудь далеко родители Тео – если они еще живы – думают, куда же пропал их ребенок, и их сердца разрываются от тоски, так же, как и мое. Смотрю на небо и возношу ему безмолвную молитву: прошу, чтобы эти люди могли как-то узнать, что их сын жив.

Астрид открывает дверь в большое здание. Она щелкает выключателем, и над нашими головами потрескивают загорающиеся лампы. Внутри ветхий спортивный зал, в нем пахнет потом, старые маты гниют в углу. Здесь все неопрятное и ветхое, так непохожее на шик и блеск, с которыми у меня ассоциировался цирк.

– Снимай пальто, – велит она, подходя ко мне ближе. Ее рука касается моей. Моя бледная кожа вся усыпана тысячами родинок и шрамов, а у Астрид мягкая, ровная, оливкового цвета. Как озеро в безветренный день. Она достает бежевую ленту, которой оборачивает мои запястья, медленно и методично, затем опускается на корточки и покрывает мои ноги мелом, стараясь не пропустить ни сантиметра. У нее идеально ровные ногти, но руки грубые, покрытые морщинами, в отличие от тела и лица, они не могут скрыть возраст. Ей, видимо, где-то около сорока.

Под конец она кладет мне в руки горсть густого порошка.

– Канифоль. Твои руки всегда должны быть сухими. Иначе соскользнешь. Не думай, что сетка тебя спасет. Если ударишься слишком сильно, то она упадет на пол или же отпружинит тебя в сторону. Ты должна приземляться на центр сетки, не на край.

Она холодно отдает инструкции, проверенные временем, которые помогут мне не упасть и не погибнуть. В голове все вертится: Неужели она сама верит, что мне это под силу?

Она показывает, что я должна подойти вслед за ней к лестнице, расположенной близко к одной из стен, лестница зафиксирована ровно по вертикали.

– Разумеется, номер будет упрощен, – говорит она, как бы напоминая, что мне никогда не достичь нужного мастерства. – Чтобы стать настоящим воздушным гимнастом, нужно положить на это всю жизнь. Есть способы компенсировать это, так чтобы зрители не заметили. Но, конечно же, в цирке не место бутафории. Зрители должны поверить, что все наши трюки настоящие.

Она начинает забираться на лестницу с грацией кошки, затем смотрит сверху вниз на место, где стою я, никуда не двигаясь. Я оцениваю высоту лестницы, упирающейся в потолок. Верхняя точка не меньше двенадцати метров от пола, а внизу ничего, кроме выдавшей виды сетки, висящей над твердым полом на высоте одного метра. Я никогда не боялась высоты, но у меня никогда и не было повода бояться: наш дом в деревне был одноэтажный, на многие километры

вокруг не было ни одной горы. Я не могла даже представить что-то подобное тому, что вижу перед собой сейчас.

– Неужели нет номеров попроще, – говорю я, и в мой голос прокрадывается умоляющая интонация.

– Герр Нойхофф хочет, чтобы ты научилась именно этому, – твердо отвечает она. – Трапедия на самом деле проще многих других номеров.

Не могу представить ничего более сложного. Она продолжает:

– Я могу научить тебя, привести тебя туда, куда нужно. Или нет. – Она спокойно смотрит на меня. – Возможно, нам стоит отправиться к герру Нойхоффу сейчас и сообщить ему, что ничего не получится.

«И увидеть, как он выставит тебя обратно на мороз» – вывод, который она, похоже, решила не озвучивать. Не думаю, что тот человек с добрым лицом так поступит, но я не хочу проверять. А что важнее, я не хочу доставить Астрид удовольствие, подтвердив ее мнение.

Скрепя сердце я начинаю карабкаться, поднимаясь, перекладина за перекладиной, стараясь не дрожать. Я крепче держусь за них, задумавшись, когда в последний раз проверяли шурупы на этой лестнице и достаточно ли она крепкая для нас двоих. Мы добираемся до небольшой платформы, где едва помещаются два человека. Я жду, что Астрид поможет мне перебраться на нее. Она не делает этого, и я, сжимаясь, встаю позади нее, совсем близко. Она отвязывает пе-

рекладину трапеции от крепления.

Астрид прыгает с платформы, от ее движения платформа начинает трястись так сильно, что я хватаюсь за первое, что мне попадается под руку, чтобы не упасть. Я поражена тем, как легко она раскачивается в воздухе, крутится вокруг перекладины, используя для этого всего лишь одну руку. Затем она раскрывает тело, как чайка, ныряющая вниз, она повисает вниз головой под перекладиной. Выпрямляется, возвращается обратно и – прицелившись на платформу – приземляется ровно на то же крошечное пространство рядом со мной.

– Вот так, – говорит она, как будто в этом нет ничего сложного.

Я слишком потрясена, чтобы говорить. Она передает перекладину мне. Перекладина толстая и непривычно ощущается в руках.

– Держи.

Она нетерпеливо исправляет положение моих рук.

Я смотрю то на нее, то на свои руки, то снова на нее.

– Я не смогу. Я не готова.

– Просто держись и качайся, – настаивает она. Я стою, оцепенев. Были моменты в моей жизни, когда я смотрела смерти в лицо: когда родила ребенка и эта жизнь покинула мое тело, когда увидела младенцев в поезде и когда продиралась через лес и метель с Тео всего пару дней назад. Но сейчас смерть снова передо мной, реальнее, чем когда-либо

– в бездне разделяющей платформу и пол.

Внезапно в голове возникает лицо матери. С тех пор, как я покинула свой дом, я изо всех сил старалась отогнать мысли о нем: лоскутное одеяло на моей кровати, спрятанной в углублении комнаты, укромный уголок у печки, где мы часто сидели и читали. Я не позволяла себе думать об этом, зная, что если я позволю себе хоть малую толику воспоминаний, то быстро начну тонуть в потоке, который остановить уже не сумею. Но сейчас тоска по дому захлестнула меня с головой. Я не хочу быть здесь, на этой крошечной платформе, готовясь прыгнуть навстречу смерти. Я хочу к маме. Я хочу домой.

– А где остальные воздушные гимнасты? – спрашиваю я, оттягивая время.

Астрид задумывается.

– Есть еще двое, и одна из них будет помогать нам, когда мы продвинемся дальше. Но они будут в основном работать на колыбели, или на испанской паутине, это другой мой номер. Они не будут работать с нами.

Я удивлена. Я думала, что трапеция – главный номер представления и мечта любого гимнаста. Возможно, они тоже не хотят работать со мной.

– Давай же, – говорит она, не давая мне продолжать расспросы. – Ты можешь просто сидеть на ней, как на качелях, если еще не готова. Представь, что ты на детской площадке, – снисходительно произносит она. Берет перекладину и

подталкивает ее ближе ко мне. – Она должна быть прямо под ягодицами, – сообщает она. Я сажусь на нее, пытаюсь принять удобную позу. – Вот так. Хорошо. – Она отпускает перекладину. Я срываюсь с платформы, хватая оба троса так крепко, что они врезаются мне в руки. Ощущение какого-то естественного потока, как будто пытаешься найти равновесие, находясь в лодке.

– Теперь отклонись назад.

Она, должно быть, шутит. Однако она говорит это серьезным тоном и не улыбается. Я отклоняюсь слишком резко и теряю баланс, едва не соскользнув с сиденья. Когда я раскачиваюсь так, чтобы находиться ближе к платформе, она протягивает руку и хватается тросы над перекладиной, притягивая меня и помогая мне слезть с нее.

Она садится на перекладину, качается вперед и отпускает руки. Я открываю рот от ужаса, когда она начинает падать. Но она ловит себя, уцепившись за перекладину коленями, и качается уже вверх ногами. Ее черные волосы развеваются, лицо перевернуто. Она выпрямляется, забираясь обратно на платформу.

– Вис на подколенках.

– Как ты попала в цирк? – спрашиваю я.

– Я родилась в цирковой семье, которая жила неподалеку отсюда, – отвечает она. – Не из этого цирка, это был другой цирк. – Она передает мне перекладину.

– Твоя очередь, теперь по-настоящему. – Она кладет пе-

рекладину мне в руки, поправляя мне хват.

– Прыгай и качайся, держась руками за гриф.

Я стою неподвижно, ноги деревянные.

– Разумеется, если у тебя не получится, я могу просто сказать герру Нойхоффу, что ты от нас уходишь, – язвит она снова.

– Нет, нет, – быстро отвечаю я. – Дай мне секунду.

– На этот раз ты будешь качаться, держась на руках, держи гриф вот тут. – Она показывает на уровень ниже бедер. Затем подними его над головой, когда будешь прыгать, чтоб набрать высоты.

Сейчас или никогда. Я делаю глубокий вдох и прыгаю. Машу ногами, беспомощно болтаясь в воздухе, как рыба на крючке. Это так не похоже на грациозные движения, которые делала Астрид. Но я справляюсь.

– Используй ноги, чтобы подняться выше, – говорит Астрид, заставляя меня переходить к следующему шагу. – Это называется выталкивание себя. Как на качелях, в детстве.

«Работает!» – думаю я.

– Нет, нет! – Голос Астрид становится еще громче, ее недовольство эхом прокатывается по всему залу. – Держи тело ровно, когда возвращаешься. В нейтральной позиции. Голову прямо. – Она осыпает меня короткими инструкциями, и я с трудом пытаюсь удержать их в своей голове. – Теперь сделай удар ногами назад. Это называется взмах.

Я набираю скорость, качаясь вперед и назад, пока воздух

не начинает свистеть в ушах, а голос Астрид становится тише. Под ногами мелькает земля. Не так уж плохо. Я несколько лет занималась гимнастикой, и теперь мои мускулы оживают. Мне далеко до сальто и поворотов Астрид. Но я справляюсь.

А потом начинают болеть руки. Я не смогу держаться долго.

– Помоги! – кричу я. Я не подумала о том, как буду возвращаться обратно.

– Ты должна сделать это сама, – кричит она в ответ. – Используй ноги, чтобы раскачаться повыше. – Это практически невозможно. Руки горят огнем. Я делаю удар ногами, чтобы увеличить скорость. Теперь я совсем близко к площадке, но немного не достаю. Я упаду, получу травмы, возможно, даже умру – и ради чего все это? Сделав последний отчаянный рывок, я поднимаюсь еще выше.

Астрид ловит веревки, когда я оказываюсь рядом с платформой, тянет меня к себе, помогая мне встать на ноги.

– Это было на грани. – Я задыхаюсь, ноги дрожат.

– Еще раз, – холодно говорит она, и я смотрю на нее, не веря своим глазам. Не могу представить даже то, как я смогу подняться сюда снова, после того, как едва не упала, а уж тем более повторить это прямо сейчас. Но у меня нет другого выхода – я должна отработать свое место и место Тео. Я снова берусь за гриф.

– Подожди, – зовет она. Я оборачиваюсь с надеждой. Она

передумала?

– Вот это. – Она указывает на мою грудь. Я оглядываю себя. Она стала больше с тех пор, как я родила, несмотря на то что молоко иссякло. – Они слишком большие, чтобы летать. – Она слезает по лестнице вниз и возвращается с рулоном плотного бинта. – Снимай верх, – велит она. Я бросаю взгляд на тренировочный зал, чтобы удостовериться, что здесь больше никого нет. Затем я приспускаю трико, стараюсь не краснеть, пока она заматывает меня так туго, что мне становится тяжело дышать. Она, похоже, не замечает моего смущения.

– У тебя мягко здесь, – говорит она, похлопывая меня по животу, этот жест, слишком интимный, заставляет меня отпрянуть назад. – Это изменится с тренировками.

К залу постепенно начинают стекаться другие артисты, они делают растяжку и жонглируют в разных его концах.

– Что случилось с предыдущей девушкой, с той, с которой вы выступали до меня?

– Не спрашивай, – отвечает она, сделав шаг назад и оглядев свою работу. – На выступление мы найдем тебе корсет. – То есть после всего этого она думает, что я могу справиться. Я тихо выдыхаю. – Еще раз. – Я беру перекладину и прыгаю еще раз, теперь с меньшей долей сомнения. – Танцуй, используй свои мышцы, управляй ситуацией, управляй полетом, – напирает она, все-то ей не нравится. Все утро мы работаем над одними и теми же движениями: выталкивание,

нейтральная позиция, взмахи. Я изо всех сил пытаюсь тянуть носки, чтобы мое тело принимало точно такое же положение, как у нее. Пытаюсь копировать ее манеру, но мои движения неуклюжие и непривычные, я просто глупая шутка по сравнению с ней. Я стану лучше, думаю я. Но она меня не хвалит. Я продолжаю пробовать, больше, чем когда-либо, желая угодить ей.

– Все не так уж ужасно, – признает Астрид под конец. Она, кажется, почти разочарована тем, что я не потерпела полный провал. – Ты училась танцевать?

– Гимнастика. – Даже больше, чем просто училась. Я занималась по шесть дней в неделю, иногда больше, если была такая возможность. У меня был талант от природы, и я, возможно, попала бы в национальную сборную, если бы папа не заявил, что эти амбиции бессмысленны. Хотя с моей последней тренировки прошло уже больше года, а живот ослаб после родов, мышцы рук и ног все еще сильные и быстрые.

– Это почти та же гимнастика, – говорит Астрид. – С той лишь разницей, что твои ноги никогда не касаются земли. – Впервые на ее лице появляется слабая улыбка. И тут же исчезает. – Еще раз.

Проходит еще час, а мы все еще работаем.

– Воды. – Я задыхаюсь.

Астрид смотрит на меня с удивлением, как на животное, которое она забыла покормить.

– Мы можем прерваться на короткий перекус. А затем мы

начнем снова.

Мы спускаемся вниз. Я проглатываю чашку чуть теплой воды, которую Астрид наливает мне из термоса. Плюхнувшись на один из матов, она достает хлеб и сыр из маленького контейнера.

– Не ешь слишком много, – предупреждает она. – У нас есть время только на короткий перерыв, и будет плохо, если у тебя начнутся колики.

Я откусываю хлеб, который она дала мне, оглядывая тренировочный зал, который теперь полон людей. Глаза останавливаются на грузном парне лет двадцати, стоящем в проеме. Я вспоминаю, что видела его прошлой ночью. Что тогда, что сейчас, он бесцельно стоит и, сгорбившись, смотрит на окружающих.

– Держись от него подальше, – произносит Астрид, понизив голос. – Это сын герра Нойхоффа, Эммет. – Я жду, что она продолжит, но она замолкает. Эммет унаследовал округлую фигуру своего отца, но она ему не идет. Он сутулый, штаны не сидят вплотную, болтаются в районе подтяжек. У него неприятная ухмылка.

Чувствуя беспокойство, я поворачиваюсь обратно к Астрид.

– Это всегда так тяжело? Тренировка, я хочу сказать.

Она смеется.

– Тяжело? Здесь, на зимовке, – это отдых. Тяжело – это когда у тебя два или три выступления подряд в дороге.

– В дороге? – Я представляю дорогу, длинную и пустынную, как та, которой я шла ночью, когда убежала с вокзала с Тео.

– В первый вторник апреля мы уедем отсюда, – объясняет она. – Как у тебя с французским?

– Сносно. – Я учила его пару лет в школе и обнаружила, что мне неплохо даются языки, но так и не избавилась от акцента.

– Хорошо. Сначала мы поедem в Овернь, в город Тьер.

Отсюда до него несколько сотен километров, думаю я, вспоминая карту на стене в школе. Эти земли находятся за пределами немецкой оккупации. До последнего года я не бывала нигде, кроме Голландии. Она продолжает называть список городов во Франции, где будет выступать цирк. Голова у меня идет кругом.

– Не так уж и много на этот раз, – заканчивает она. – Мы ездили и дальше: Копенгаген, озеро Комо. Но во время войны это невозможно.

Я не разочарована, ничуть – я и не мечтала, что смогу побывать где-то, кроме Германии.

– Будем ли мы выступать в Париже?

– Мы? – повторяет она. Я осознаю свою ошибку слишком поздно: это Астрид решать, включать ли меня в программу, а делать это самой – это явно перебор. – Ты должна доказать, что достойна этого, прежде чем сможешь присоединиться к нам.

– Я хотела спросить, поедет ли цирк в Париж? – Я быстро исправляюсь.

Она качает головой.

– Слишком сильная конкуренция с французскими цирками. И слишком дорого. Но когда я жила в Берлине...

– Я думала, ты выросла в Дармштадте, – встречаю я.

– Я родилась в цирковой семье, которая жила здесь. Но уезжала на некоторое время, когда была замужем. – Она крутит золотую сережку в левом ухе. – До Петра. – Ее голос становится мягче.

– Петр... Это тот мужчина, который был с тобой вчера? – Тот мрачный мужчина, который сидел в углу комнаты, курил и мало разговаривал. Его темные глаза будто горели тогда.

– Да, – отвечает она. Ее взгляд вдруг становится настороженным, дверь захлопывается. – Ты не должна задавать так много вопросов, – добавляет она, снова став резкой.

«Я спросила лишь о паре вещей», – хотела сказать я в свою защиту. Но иногда один вопрос может равняться и тысяче – как прошлой ночью, когда герр Нойхофф спросил меня о моем прошлом. И все же я столько всего хотела бы узнать об Астрид: куда делась ее семья, почему она выступает теперь с цирком герра Нойхоффа.

– Петр – клоун, – говорит Астрид. Я оглядываю тренировочный зал и тех артистов, которые недавно зашли, жонглера и человека с обезьяной, но не вижу его. Я вспоминаю его крупные казачьи черты лица, усы, уходящие вниз, дряблые

щеки. Он, судя по всему, грустный клоун, это так подходит нынешнему безрадостному времени.

И тут же, как по команде, в тренировочный зал входит Петр. На нем нет никакого грима, который я ожидала бы увидеть на клоуне, но он одет в мешковатые штаны и в шляпу с мягкими полями. Он встречается глазами с Астрид. Здесь много других людей, но внезапно я чувствую себя третьей лишней в пространстве, которое появляется между ними. Он не подходит ближе, но я вижу, как он к ней относится, по тому, как он исследует ее лицо. Он подходит к фортепьяно в дальнем углу зала и говорит с человеком, сидящим за ним, человек начинает играть.

Когда Астрид поворачивается ко мне, у нее снова жесткое и деловитое выражение лица.

– Твой брат, – говорит она, – совершенно на тебя не похож.

Она застигла меня врасплох этой резкой сменой темы.

– У моей матери, – фантазирую я, – была очень темная кожа. – Я прикусываю язык, пытаюсь унять свою привычку предоставлять окружающим слишком много информации. Я готовлюсь к волне новых вопросов, но Астрид, похоже, предпочла оставить меня в покое и продолжает есть в тишине.

В конце нашего театрального зала Петр репетирует свой номер, марширует вразвалочку, шагая на вытянутых ногах, изображая – с намеренным преувеличением – шаг немецкого солдата. Глядя на него, я начинаю нервничать. Я поворачи-

чиваюсь к Астрид.

– Он ведь не будет делать этого во время представления?

Она не отвечает, но пристально смотрит на него, ее глаза сужаются от страха.

В зал заходит герр Нойхофф и пересекает его с такой скоростью, какой я от него не ожидала, учитывая его возраст и вес. Он несется к Петру с грозным выражением лица. Он видел его репетицию через окно, а может, кто-то рассказал ему об этом. Музыка прекращается с громким хлопком. Герр Нойхофф разговаривает с Петром. Говорит он тихо, но руками жестикулирует очень яростно. Петр категорично качает головой. Астрид обеспокоенно хмурит брови, наблюдая за двумя мужчинами.

Минуту спустя герр Нойхофф идет к нам, уже немного успокоившись, его лицо покраснело.

– Ты должна поговорить с ним, – грохочет он, обращаясь к Астрид. – Этот новый номер, где он передразнивает немцев...

Астрид с печалью поднимает ладони вверх.

– Я не могу остановить его. Таков уж он как артист.

Герр Нойхофф на этом не успокаивается.

– Мы вжимаем головы в плечи, стараемся держаться по-дальше от всего – так мне и удавалось держать этот цирк на плаву, мы стараемся защитить всех.

«От чего?» – хочу спросить я. Но не решаюсь.

– Скажи ему, Астрид, – настаивает герр Нойхофф чуть

тише. – Он прислушается к тебе. Скажи ему – или мне придется отстранить его от выступлений.

Тревога проносится по лицу Астрид.

– Я постараюсь, – обещает она.

– Он действительно так сделает? – Не в силах сдержаться, я все-таки задаю этот вопрос, когда герр Нойхофф покидает здание.

Она машет головой.

– Петр – одна из главных причин, почему люди приходят в цирк, и его номера помогают цирку не развалиться. Не будет его – не будет выступлений, – добавляет она. Но она все еще огорчена. Ее рука дрожит, когда она откладывает бутерброд, к которому едва притронулась. – Нужно продолжить и отработать следующий кусок.

Я откусываю от своего, быстро проглатываю.

– Будет еще?

– Думаешь, люди заплатят, просто чтобы посмотреть, как ты висишь тут, как обезьянка? – Астрид грубо смеется. – Ты в самом начале. Просто качаться туда-сюда – этого недостаточно. С этим любой справится. Мы должны танцевать в небе, делать то, что кажется невозможным. Не переживай, в твоём номере я сделаю так, что когда ты отпустишь гриф и полетишь, я буду на нужном месте и поймаю тебя.

Хлеб, который я только что съела, застревает у меня в горле, когда я вспоминаю, как она летела вниз по воздуху.

– Лететь? – выдавливаю я.

– Да. Потому мы и называем этот номер летающей трапецией. Ты – вольтижер, ты будешь лететь ко мне. Я буду ловитором. – Она встает и идет обратно.

Но я остаюсь на месте, точно вкопанная.

– Почему я должна быть вольтижером? – осмеливаюсь спросить я.

– Потому что ни за что не доверю тебе ловить меня, – холодно говорит она. – Пойдем.

Она направляется к лестнице в противоположной стороне зала, параллельной той, на которую мы забирались ранее, но с более крепкими качелями. Я иду за ней, но она качает головой.

– Иди на ту сторону с Гердой. – Она указывает на другую воздушную гимнастку. Я не видела, как она зашла: она уже забирается на лестницу, по которой мы залазили наверх с Астрид. Я лезу вслед за ней. На самом верху мы с Астрид стоим друг напротив друга на платформах, между нами целый океан. – Качайся так же, как и раньше. Когда я скажу, ты отпустишь гриф. Я сделаю все остальное.

– А Герда? – спрашиваю я, остановившись.

– Она отправит гриф обратно, чтобы ты могла ухватиться за него на обратном пути, – отвечает Астрид.

Я смотрю на нее, не веря своим ушам.

– То есть я должна отпустить его дважды?

– Да, если у тебя нет крыльев, конечно. Тебе нужно как-то вернуться обратно.

Астрид хватает перекладину напротив и прыгает, затем разворачивается так, чтобы повиснуть на ногах. – Теперь ты, – подсказывает она.

Я спрыгиваю, пытаюсь махать ногами все выше.

– Выше, выше, – настаивает она, ее руки протянуты ко мне. – Ты должна быть выше меня, когда я скажу отпускать гриф. – Я с силой выталкиваю тело вверх, управляя стопами.

– Уже лучше. По моей команде. Три, два, один – сейчас! – Но мои руки остаются приклеенными к трапеции.

– Дура! – кричит она. – Все в цирке зависит от времени, от синхронности. Ты должна слушать меня. Иначе из-за тебя погибнем мы обе.

Я возвращаюсь обратно на площадку, потом слезаю с лестницы и снова встречаюсь с Астрид на земле.

– Ты ведь наверняка делала это на гимнастике, – говорит она. Она явно раздражена.

– Это было по-другому, – отвечаю я. «На высоте десяти метров все по-другому», – добавляю я про себя.

Она складывает руки.

– Ни один номер не обходится без этого.

– Я никак не смогу сделать этого, – настаиваю я. Несколько секунд мы стоим и пристально смотрим друг на друга и молчим.

– Если ты хочешь уйти, иди. Никто от тебя ничего и не ожидал.

Ее слова звучат для меня как пощечина.

– Особенно ты, – резко отвечаю я. Она хочет, чтобы я провалилась. Она не хочет, чтобы я была здесь.

Астрид пораженно хлопает глазами, у нее на лице что-то между гневом и удивлением.

– Да как ты смеешь? – спрашивает она, и я пугаюсь, что зашла слишком далеко.

– Прости, – говорю я быстро. Ее лицо чуть-чуть смягчается. – Но это ведь так, правда? Ты не веришь, что у меня получится.

– Да, я не верила, что из тебя что-то получится, когда герр Нойхофф предложил это. – Она говорит это нейтрально, прагматично. – И до сих пор не верю.

Она берет меня за руку, и я задерживаю дыхание, ожидая, что она скажет мне что-то ободряющее. Но вместо этого она срывает ленту с моего запястья, так что я невольно вскрикиваю, кожу дерет от ожога. Мы смотрим друг на друга тяжелым взглядом, никто из нас не моргает. Я ожидаю, что она скажет, что я должна уйти. Конечно, они отправят нас восвояси.

– Приходи завтра, – уступает она, – и мы попробуем еще раз, в последний раз.

– Спасибо, – говорю я. – Но Астрид... – Мой голос звучит умоляюще. – Должно же быть что-то еще, что я могла бы делать.

– Завтра, – повторяет она, прежде чем уйти. Глядя на то, как она удаляется, я чувствую тяжесть в желудке. Я была бла-

годарна второму шансу, но я знаю, что ситуация безнадежная. Что завтра, что через год – я никогда не смогу отправиться в свободный полет.

Глава 6

Ноа

Тео лежит у меня на груди, прижимаясь ко мне теплой щекой – он любит так спать.

– Тебе следовало бы уложить его. – Грета, горничная, которая присматривает за Тео, когда я хожу на репетиции, не раз ругала меня за эти две недели, что я здесь. – Если он не научится успокаиваться сам, он всегда будет плохо засыпать.

Мне все равно. Днем, в любое время, когда я не тренируюсь, я держу Тео, пока руки не заболят. Сплю с ним в обнимку каждую ночь, чтобы слышать биение его сердца. Как будто одна из кукол, которые были у меня в детстве, вдруг ожила. Иногда мне кажется, что без него я не смогу дышать.

Сейчас, когда я лежу в тишине женского общежития, я смотрю на то, как он поднимается и опускается, лежа на мне в этой узкой кровати. Он шевелится, поднимает головку – как раз недавно этому научился. Тео всегда следит за мной взглядом, когда я захожу в комнату. Он, кажется, всегда слушает внимательно, не пропуская ни слова, как старый мудрец. Мы встречаемся взглядами, и он улыбается широкой беззубой улыбкой, полной удовольствия. На несколько секунд в мире как будто не остается никого, кроме нас. Я обнимаю его крепче. Каждый вечер, когда Астрид отпускает ме-

ня с тренировки, прямо перед тем, как зайти в общежитие, меня переполняет радость и предчувствие того, что я увижу Тео. Какая-то часть меня боится, что он всего лишь плод моего сознания или что он исчез, потому что меня не было так долго. Потом я беру его на руки, он растекается в них, и я чувствую себя как дома. Прошло всего несколько недель, однако у меня ощущение, что Тео был моим с самого начала.

Их ведь может быть двое, напоминаю я себе – если я найду своего ребенка. Возможно ли это? Я представляю ребят вместе, в три или четыре года. Они были бы как братья, одного возраста, почти близнецы. Такие мысли опасны, раньше я себе их не позволяла.

Чуть сильнее заворачиваюсь в одеяло. Вчера ночью мне снилась моя семья: отец появился у зимней стоянки, и я побежала к нему, чтобы обнять и умолять о том, чтобы он забрал меня домой. Но потом я проснулась в холодном свете дня, просочившемся через окна. Возвращение домой было для меня мечтой, за которую я держалась на протяжении долгих месяцев изгнания. Когда мы попали в цирк, я думала, что останусь тут на пару недель, чтобы набраться сил, а затем найду нормальную работу, заработаю денег и вернусь обратно в Голландию. Однако мои родители не были готовы принять меня с моим собственным ребенком, а с Тео уж тем более не примут. Нет, я не могу поехать домой. И все же я должна как-то вытащить Тео из Германии. Мы не можем оставаться здесь.

Скрежет металла выдергивает меня из мыслей. Цирк наполнен звуками с самого раннего утра: смеются и спорят по дороге на тренировку артисты, рабочие чинят вагончики и всякую технику, животные протестуяще скулят. Когда-то – если бы я, конечно, могла задуматься о таком в прежние времена – я подумала бы, что работа в цирке – это весело. Но веселым кажется только представление, за тщательно выверенной хореографией стоит тяжелая работа. Даже здесь, на зимовке, куда работники цирка приезжают вроде бы отдохнуть, все встают перед рассветом, чтобы помочь с уборкой и готовкой, а потом тренируются, минимум по шесть часов в день.

Я неохотно встаю и кладу Тео в колыбель. Его глаза следят за мной, пока я умываюсь в раковине. Застилаю постель, проводя руками по постельному белью, которое хоть и гораздо грубее тех прекрасных простыней в особняке, но все же в сто раз лучше всего, на чем мне приходилось спать с тех пор, как я покинула отчий дом. Я переехала сюда через день после своего появления в цирке. Это длинная комната, кровати в ней расставлены, как и положено в общежитии, в два ряда. Здесь почти никого нет, большинство уже ушли на тренировку или помогают с домашними делами. Я быстро одеваюсь и иду к двери вместе с Тео. Я не хочу показаться ленивой. Я должна усердно работать, чтобы заслужить свое место здесь.

Я отношу Тео к передней части помещения, где несколько

малышей играют, сидя на земле. Скрепя сердце я передаю его Грете, она прижимает его к себе, щекочет его под подбородком, отчего он начинает смеяться. Во мне просыпается ревность, и я еле сдерживаюсь, чтобы не схватить его обратно. Мне до сих пор не нравится делить его с кем-то.

Я заставляю себя уйти и направляюсь к тренировочному залу. Зима потихоньку начинает отступать. Воздух уже не такой кусачий, и снег начал таять, от чего земля становится грязной и пахнет болотным мхом. Весело щебечут птицы, занятые поиском семян. Когда погода позволяет, по вечерам, пока не стало слишком темно, я прогуливаюсь с Тео вокруг владений цирка, мимо тренировочного зала к зверинцу, где содержат тигра, львов и других животных, они кажутся такими неуместными на фоне снежного пейзажа с соснами, как персонажи, которых перенесло сюда из другой книжки. В цирке есть бесконечное количество мест, которые можно исследовать: от рабочих зданий, где машины стирают белье, до цирковой улочки, где репетируют некоторые из клоунов.

Я приближаюсь к тренировочному залу и останавливаюсь, стараясь унять свой ужас. Я тренируюсь с Астрид каждый день, но до сих пор так ни разу и не отпустила гриф и не полетела. Каждый день я готовлюсь к тому, что она сдастся и велит мне уйти. Но она просто повторяет: «Приходи завтра».

Она до сих пор не выставила меня за дверь. Но вместе с тем она относится ко мне как к досадному неудобству, дает

понять, что предпочла бы, чтобы меня здесь не было, и просто терпит меня. Я снова и снова ломаю голову, чем я могла вызвать такую неприязнь. Это потому что я новенькая и мне не хватает таланта? И все же, она не всегда такая высокомерная. Несколько дней назад, когда я пришла, она дала мне маленькую коробочку. Внутри были аккуратно сложенная одежда для меня и Тео. Все внесли свой вклад. Доставая выцветшие чепчики и носочки и не единожды штопанные блузки для меня, я была тронута не только щедростью работников цирка, которые и сами были сильно ограничены в средствах, но также щедростью самой Астрид, которая позаботилась о том, чтобы собрать все это. Возможно, она все-таки не хотела, чтобы мы уходили.

Однако вчера, когда я подходила к тренировочному залу, я услышала, как они с герром Нойхоффом тихо переговариваются.

– Я делаю все, что могу, – сказала Астрид.

– Ты должна делать больше, – возразил герр Нойхофф.

– Я не могу ничего сделать, пока она не научилась отпустить гриф, – с нажимом сказала Астрид. – Нам нужно найти кого-то еще, прежде чем надо будет выезжать в тур.

Я ушла, мне не хотелось знать, что меня ждет, если договор не удастся выполнить. Изначально я сказала, что постараюсь стать лучше за две недели. Но время прошло, и я вдруг осознала, что хочу оставаться здесь и продолжать попытки. И не только потому, что мне некуда пойти.

Захожу в зал и удивляюсь, увидев Астрид на месте, где обычно стою я. Я опоздала? Морально готовлюсь к тому, что она сейчас будет ругать меня. Однако она хватает гриф и прыгает.

– Оп! – Герда начинает качаться с другой стороны, чтобы поймать ее. В моем горле образуется странный комок, когда я смотрю на то, как Астрид работает с кем-то другим. Но теперь я вижу, как ей этого не хватало, как ей необходим воздух. Она, должно быть, ненавидит меня за то, что я заняла ее место.

Герда отправляет Астрид обратно, затем раскачивается, чтобы попасть на свою платформу.

Астрид взлетает высоко, она, как наездник, укрощающий дикого зверя, изгибает трапецию, как ей угодно. Она крутится: то используя лодыжки, то на одном колене, едва касаясь трапеции, в которую я всегда вцепляюсь изо всех сил. Герда смотрит на Астрид безразлично, почти неприязненно. Ни она, ни другие женщины не любят Астрид. Уже в первые дни пребывания здесь я слышала шепотки: их возмущало то, что Астрид вернулась и забрала место Герды в самом важном номере воздушных гимнастов, в то время как они работали над этим много лет подряд. Еще они возмущались ее романом с Петром, одним из немногих достойных мужчин, которые остались в цирке после начала войны. Девушки там, в общепитии, точно такие же: язвят и шепчутся друг о друге. Почему мы так жестоки друг с другом? Не понимаю. Разве

нам мало тех трудностей, которые дает нам жизнь? Но даже если Астрид и замечает их холодность, кажется, она не придает этому значения. А, возможно, они ей просто не нужны. Я вот ей определенно не нужна.

– Она великолепна, не правда ли? – спрашивает низкий голос. Я не слышала, как подошел Петр. Мы тихо стоим, наблюдая за тем, как Астрид раскачивается все выше. Когда он смотрит на нее, его глаза как будто светятся. Его дыхание слегка замирает, когда она подбрасывает себя в воздух или крутится – и не один или два, а все три раза. Она кружится, побеждая силу притяжения.

Но потом она внезапно падает вниз на огромной скорости. Петр делает шаг вперед, затем останавливается, не в силах помочь ей. Он быстро дышит, а Герда, которая в этот момент качнулась к ней, хватая ее за лодыжку, успевая поймать ее до того, как она начала падать на землю.

– Тройное сальто, – говорит он, оправляясь от страха. – Лишь несколько людей в мире способны на это. – Он пытается показаться равнодушным, но у него на лбу выступил едва заметный пот, теперь же его лицо расслабилось от облегчения.

– Она невероятная, – отвечаю я голосом, полным восхищения. В этот момент я не просто хочу быть как она – я хочу быть ей.

– Вот только бы она не подвергала себя такой опасности, – говорит Петр едва слышно, так что я не понимаю даже, долж-

на ли я была это услышать.

Астрид возвращается на платформу и спускается к нам по лестнице. Ее кожа покрыта потом, но лицо сияет. Они с Петром смотрят друг на друга с таким голодом, что мне неловко находиться рядом, хотя они были вместе всего несколько часов назад, судя по тому, что ее кровать в общежитии пустовала всю ночь.

– Готова? – спрашивает она, не отводя глаз от Петра. Как ни странно, она все еще помнит, что я здесь.

Я киваю и отправляюсь к лестнице. Человек шесть или около того репетируют: крутят обручи, делают сальто, ходят на руках. Мое расписание занятий с Астрид не изменилось с первого дня: тренировка с семи до пяти, с небольшим перерывом на перекус. Думаю, я стала лучше. Но несмотря на это, я так и не смогла отпустить гриф и полететь. Это не значит, что я не пыталась. Я бесконечно раскачиваюсь на трапеции, чтобы сделать руки сильнее. Вишу ногами кверху, пока кровь не приливает в голову, лишая меня возможности думать. Но отпустить перекладину я не могу, а без этого – Астрид повторяла это вновь и вновь – не будет номера. Мы начинаем с движений, которые мы уже тренировали раньше, я качаюсь на руках, затем вишу на согнутой ноге и на лодыжках.

– Следи за руками, даже когда они за твоей спиной, – командует Астрид. – Это не просто представление. В театре все двухмерное, как на картине. Там зрители видят только то,

что спереди. Но в цирке зрители вокруг нас, мы для них как скульптура. Пусть это будет изящно, как в балете. Не борись с ветром, подружись с ним.

Все утро мы ходим вокруг да около, не приступая к тому, чего я так боюсь.

– Готова? – спрашивает, наконец, Астрид после перерыва. Я не могу больше избегать этого. Поднимаюсь на лестницу, к площадке, Грета идет за мной, становится рядом.

– Ты должна отпустить перекладину, когда будешь в самой высокой точке, – кричит Астрид с другой платформы. – А затем, всего через секунду, я поймаю тебя, когда ты будешь снижаться. – Все это мне понятно, но я прыгаю и точно так же, как и раньше, не могу отпустить перекладину.

– Все бесполезно, – говорю я вслух. Раскачиваясь, я успеваю ухватить взглядом горизонт, который виден из одного из огромных окон тренировочного зала. Там, за холмами, дорога из Германии, путь к безопасности и свободе. Вот бы мы с Тео могли просто раскачаться и улететь отсюда. В голове вдруг возникает мысль: поехать с цирком во Францию. Подальше от Германии, там мы с Тео сможем сбежать куда-нибудь, где будет безопасно. Но этого никогда не случится, если я не научусь отпускать перекладину.

– Ты уже все, да? – спрашивает Астрид, когда я возвращаюсь обратно на платформу. Она старается, чтобы ее голос звучал ровно, как будто я ее уже настолько разочаровала, что это нельзя сделать снова. Но я слышу этот слабый оттенок

грусти где-то в глубине ее голоса. Выходит, в глубине души она отчасти думает, что я могу справиться – что делает мой провал еще ужаснее.

Я смотрю в окно еще раз, моя мечта о побеге с Тео как будто удаляется от меня. Цирк – это наш билет из Германии – или станет им, если я справлюсь.

– Нет! – выпаливаю я. – Я хочу попробовать еще раз.

Астрид пожимает плечами, как будто она уже потеряла на меня надежду.

– Как знаешь.

Когда я прыгаю, Астрид тоже срывается с другой платформы и качается на ногах.

– Оп! – зовет она. В первый раз я не отпускаю.

Во второй раз Астрид раскачивается выше, приближаясь ближе ко мне.

– Сделай же это! – приказывает она. Я вспоминаю вчерашний разговор Астрид с герром Нойхоффом и понимаю, что время подходит к концу.

Сейчас или никогда. Все зависит от этого.

Я долго смотрю в глаза Астрид, и в этот момент я доверяю ей полностью.

– Сейчас! – командует она.

Я отпускаю перекладину. Закрыв глаза, я мчусь в пространстве. Забывая все, чему научила меня Астрид, я развожу руки и ноги в разные стороны, от чего начинаю падать быстрее. Падаю к ней навстречу, но я слишком низко. Она

не успеваю поймать меня, и я камнем падаю вниз. Теперь ничто не разделяет меня с землей, которая становится все ближе во время падения. В этот миг я вижу Тео и переживаю, кто же позаботится о нем, когда меня не станет. Я раскрываю рот, но руки Астрид сцепляются вокруг моих лодыжек раньше, чем я успеваю закричать. Она меня поймала.

Но это еще не конец. Вишу головой вниз, беспомощно, как ягненок на заклание.

– Поднимайся, – велит она, можно подумать, это просто. – Я не смогу помочь тебе. Ты должна сделать это сама. – Я использую всю свою силу, чтобы подтянуться, борясь с силой притяжения, выполняю номер по самому впечатляющему поднятию корпуса в мире, и, наконец, хватаюсь за нее.

– Хорошо, теперь, когда я скажу «сейчас», я отправлю тебя обратно с полуповоротом, чтобы ты была лицом к грифу, – объясняет она.

Я леденею. Она ведь это не всерьез? Предлагать мне снова пролететь по воздуху к перекладине, которая находится так далеко, да еще и так быстро?

– Я не смогу.

– Ты должна. Сейчас!

Она швыряет меня в воздух, и перекладина встречается с моими пальцами. Крепко схватившись за нее, я понимаю, что теперь мне почти ничего не надо делать – она может направить меня так точно, как марионетку. Но мне все равно жутко.

Я добираюсь до платформы, ноги у меня трясутся, Герда помогает мне обрести равновесие перед тем, как надо будет спуститься с лестницы. Астрид, которая уже спустилась со своей стороны, ждет, пока Герда уйдет, а потом поднимается ко мне.

– Это было опасно, – говорю я, когда она подходит ближе. Я ожидаю, что она похвалит меня за то, что у меня, наконец, получилось.

Но она смотрит на меня пристально, и я подозреваю, что она злится на меня и накажет за паникерство.

– Твой брат, – говорит она. Гнев, который она скрывала раньше, кипит в ее глазах, неожиданно оказавшись на свободе.

Она застигла меня врасплох, неожиданно заговорив об этом.

– Я не понимаю...

Она не обсуждала со мной Тео с того самого первого дня, когда мы тренировались. Почему она спрашивает теперь?

– Дело в том, что я тебе не верю.

Она говорит сквозь зубы, ее ярость очевидна.

– Я думаю, ты лжешь. Тео не твой брат.

– Конечно же, он мой брат, – запинаясь я. Почему у нее вдруг появились подозрения?

– Он на тебя совсем не похож. Мы дали тебе место здесь, а ты воспользовалась нами в своих интересах и лгала нам.

– Это не так, – протестую я.

Она продолжает, я ее не убедила.

– Я думаю, что у тебя были какие-то неприятности. Он твой незаконнорожденный сын.

Я отшатнулась от нее, не столько от хлестких слов, сколько от того, как близко она попала.

– Но ты же сама только что сказала, что он на меня совсем не похож.

– Значит, он похож на отца, – настаивает она.

– Тео не мой ребенок.

Я произношу каждое слово медленно и решительно. Как это тяжело – отречься от него, хотя это правда.

Она упирает руки в бедра.

– Как мне с тобой работать, если я не могу тебе доверять? – Она не ждет моего ответа. – Он не может быть твоим братом.

И тут она грубо сталкивает меня с платформы.

Я падаю, и в воздухе нет ни точки опоры, ни перекладины, за которую можно было бы ухватиться. Я открываю рот, чтобы закричать, но в легких не находится воздуха для крика. Это похоже на сон, в котором летаешь, с той лишь разницей, что мой полет направлен строго вниз. Теперь ни трапеция, ни тренировки не помогут мне. Я жду удара, боли и темноты, которые неизбежно последуют за ним. Сетка явно не рассчитана на то, чтобы удержать человека, летящего с такой скоростью.

Я приземляюсь на сетку, она трясется на расстоянии

нескольких сантиметров от пола, так близко к нему, что я чувствую запах сена, лежащего под ней, и еще не выветрившегося навоза. Затем я подлетаю вверх, я снова в воздухе, сетка лишь отчасти погасила удар. Только на третий раз я приземляюсь на трясущуюся сетку, и она не подбрасывает меня вновь, но качается, как колыбель. Тогда я понимаю, что все закончилось.

Несколько секунд я лежу, пытаюсь отдышаться и ожидая, что кто-то из других артистов придет мне на помощь. Но все исчезли, предчувствуя беду, а может, увидели, что происходит, и не захотели вмешиваться. В тренировочном зале остались только я и Астрид.

Я вылезаю из сетки, а затем иду к Астрид, которая уже спустилась с лестницы.

– Как ты могла? – спрашиваю я. Теперь моя очередь злиться. – Ты меня чуть не убила. – Я знаю, она меня не любит, но я никогда не думала о том, что она хочет мне смерти.

Она насмешливо улыбается.

– Я бы тоже была в ужасе. Не буду винить тебя, если ты уйдешь.

Я с вызовом поднимаю плечи.

– Я не уйду.

После того, что произошло, я ни за что не доставлю ей такое удовольствие.

В зал вбегает Герр Нойхофф, он слышал грохот, с которым я упала.

– Милая, ты в порядке? Вот ведь беда!

Увидев, что я в порядке, он делает шаг назад и складывает руки на поясе.

– Что случилось? Несчастный случай и вопросы, которые за ним последуют, – это не то, что мы сейчас можем себе позволить. Ты ведь это понимаешь, – говорит он, обращаясь к Астрид.

Я в нерешительности. Астрид косится на меня с беспокойством. Я могу рассказать ему ужасную правду о том, что она сделала. Но, возможно, он не поверит мне без явных доказательств. И что тогда это изменит?

– Я соскользнула, – вру я.

Герр Нойхофф кашляет, затем опускает руку в карман и достает таблетку. Я впервые вижу, чтобы он так делал.

– Вы болеете? – спрашивает Астрид.

Он отмахивается, словно говоря, что это не важно.

– Ты должна быть аккуратнее, – предупреждает он. – В два раза больше тренировок на этой неделе. Не начинай ничего нового, пока ты еще не готова. – Потом он поворачивается к Астрид. – Ты тоже не заставляй ее, если она не готова.

– Да, сэр, – говорим мы почти хором. Герр Нойхофф тяжелыми шагами уходит из зала.

Между мной и Астрид что-то происходит в этот момент. Я не сдала ее. Я жду, что она что-нибудь скажет.

Но она просто уходит.

Я следую за ней в раздевалку, и во мне закипает гнев. Что

она мнит о себе, если позволяет себе так со мной обращаться?

– Как ты могла? – спрашиваю я, слишком разозленная, чтобы переживать о своей невежливости.

– Ну и уходи тогда, если все так плохо, – поддразнивает она. Я обдумываю этот вариант: возможно, стоило бы и уйти. Меня здесь ничто не держит. Я в полном порядке, и погода тоже уже наладилась, почему бы не взять Тео и не пойти в ближайший город, не подыскать себе какую-нибудь простую работу. Быть одной и без вещей и крыши над головой все же лучше, чем оставаться там, где тебе не рады. Я сделала так однажды, смогу сделать и снова.

Но я не могу это так просто оставить.

– Почему? – спрашиваю я. – Что я тебе сделала?

– Ничего, – фыркнув, признает Астрид. – Ты должна была понять, каково это – падать.

Значит, она планировала это. Ради чего? Не для того, чтобы убить меня: она знала, что сетка выдержит. Нет, она хотела напугать меня, хотела, чтобы я сдалась. Я снова задаюсь вопросом, почему же она так ненавидит меня. Просто потому, что гимнастка из меня ужасная и я никогда не справлюсь с номером? Я сделала то, что она просила, и отпустила перекладину. Нет, есть что-то другое. Я вспомнила, как ее глаза сверкали от гнева, когда она обвинила меня в том, что я лгу о Тео и своем прошлом. Ее слова точно отозвались эхом во мне: «Как мне с тобой работать, если я не могу тебе до-

верить?» Если я расскажу ей правду о своем прошлом, она, быть может, примет меня. Или же это окажется последней соломинкой, после чего она захочет, чтобы я ушла сейчас же и навсегда.

Я делаю глубокий вдох.

– Ты была права: Тео... не мой брат. – На ее губах играет улыбка, «я так и знала». – Но все не так, как ты думаешь, – быстро добавляю я. – Он еврей.

Самодовольное выражение спадает с ее лица.

– Как он у тебя оказался?

У меня нет причин доверять ей. Она ненавидит меня. Но я уже начала рассказывать.

– Я работала уборщицей на вокзале в Бенсхайме. – Я решила умолчать о той части истории, которая привела меня на вокзал – о своей собственной беременности. – И однажды ночью там остановился вагон. Он был набит младенцами, которых отняли у родителей. – Мой голос срывается, когда я вспоминаю, как они лежали на холодном полу вагона, доживали последние минуты своей жизни. – Тео был одним из них, – продолжила я и объяснила, как забрала его оттуда и убежала.

Когда я закончила, она пристально смотрела на меня несколько секунд, ничего не говоря.

– Выходит, то, что ты сказала герру Нойхоффу – ложь.

– Да. Теперь ты знаешь, почему я не могла ничего сказать.

Я всем телом чувствую облегчение от того, что смогла по-

делиться хотя бы частью истории с ней.

– Знаешь, уж кто-то, а герр Нойхофф бы понял, – говорит она.

– Я знаю, но я не сказала этого в самом начале... И не могу сказать сейчас. Пожалуйста, не говори ему. – Я слышу жалобный тон в собственном голосе.

– А что с Тео, ты просто схватила его и побежала? – спросила она.

– Да. – Я задерживаю дыхание, ожидая ее реакции.

– Это смело, – говорит она, наконец. Комплимент она делает крайне неохотно, больше как одолжение.

– Я должна была взять еще кого-нибудь, – отвечаю я. Грусть, которую я чувствую каждый раз, когда думаю о тех младенцах в поезде, переполняет меня и грозит перейти через все барьеры. – Там было так много детей. – Теперь, конечно, они все мертвы.

– Нет, если бы ты взяла больше, то привлекла бы внимание и не смогла бы убежать так далеко, как тебе удалось. Но почему ты просто не взяла ребенка и не пошла домой? – спросила она. – Твоя семья наверняка поняла бы твой поступок и помогла бы тебе.

Я хочу рассказать ей всю историю и объяснить, почему мои родители были так разгневаны. Но слова застревают у меня в горле.

– То, что я сказала о своем отце – это правда, – выдавливаю я, возвращаясь к этой лжи снова. – Именно поэтому я

ушла, поэтому я и попала на вокзал.

– А твоя мать?

– Она не очень смелая. – Еще одна полуправда. – Кроме того, я не хотела подвергать их опасности, – добавляю я. Астрид спокойно смотрит на меня, и я жду, что она скажет об опасности для нее и всего цирка. Я рассказала ей о Тео, надеясь, что так она, возможно, будет готова принять меня. Но что, если все наоборот?

Снаружи раздается резкий грохот, чья-то машина затормозила, затем раздались незнакомые мужские голоса. Я поворачиваюсь к Астрид:

– Что это?

Однако она уже отвернулась от меня и побежала к дальней двери раздевалки, ведущей наружу.

До того, как я успеваю позвать ее, ближайшая дверь раздевалки распахивается настежь и из зала в раздевалку вваливаются два человека в форме, Петр идет вслед за ними.

– Офицеры, уверяю вас...

Я замираю, мои ноги каменеют. Это первые люди в форме, которых я видела с тех пор, как пришла из Дармштада, и это не обычные штупцполицаи, которых я видела на вокзале, а настоящие нацисты из СС¹⁸. Они пришли за мной? Я надеялась, что мое исчезновение с Тео уже давно забыто. Но трудно представить, какие еще дела могли привести их в цирк.

¹⁸ (Нем. SS). Военные формирования национал-социалистической немецкой рабочей партии, «отряды охраны».

– *Фройляйн...* – Один из мужчин, постарше, с седеющими висками, спрятанным под шапкой, делает шаг ко мне. Я молюсь, чтобы они забрали только меня. К счастью, Тео не со мной, но в безопасности. Но если его увидят...

В ужасе оборачиваюсь, пытаюсь найти Астрид. Она придумала бы, что делать. Я делаю шаг, чтобы пойти за ней. Но глаза Петра, стоящего за мужчинами, сверкают. Он пытается предупредить меня о чем-то.

Когда офицер подходит ближе, я мысленно готовлюсь к аресту. Но он просто подходит, достаточно близко, с ухмылкой посматривая в глубокий вырез моего трико.

– Мы получили сообщение, – говорит второй офицер. Он моложе лет на десять, стоит позади, и ему, похоже, некомфортно стоять в тесной раздевалке. – О лице еврейской национальности, – добавляет он. Ужас пронзает меня, точно нож. Значит, они все-таки знают о Тео.

Мужчины начинают обыскивать раздевалку, открывая шкафы и заглядывая под столы. Они серьезно думают, что мы спрятали ребенка здесь? Я готовлюсь к вопросам, которые непременно последуют дальше. Но офицеры уходят в зал так же быстро, как вошли. В холодном поту я опираюсь на стол в раздевалке, меня трясет. Я должна добраться до Тео прежде, чем это сделают они, и бежать. Я направляюсь к двери.

Затем я вдруг слышу какой-то скрежет под ногами. Посмотрев вниз, я ухватываю взглядом Астрид под деревянны-

ми половицами. Она каким-то образом забралась в подпол. Что она здесь делает? Я опускаюсь на корточки, в нос мне ударяет резкий запах навоза и нечистот.

– Астрид, я...

– Тс-с-с!

Она свернулась в плотный комочек. И прячется.

– Что ты делаешь?.. – Я прерываюсь на полуслове, когда в комнату снова входит офицер постарше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.